



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Вовогукін, Р. Д.

П. Д. Боборыкинъ.

ВЕЛИКАЯ РАЗРУХА

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА.

Издание В. М. Саблина. Москва.—1908.

PG 3453
B 62 V4

Типографія В. М. Саблина.
Москва, Петровка, домъ Обидиной.
Телефонъ 131-34.

ОТЪ АВТОРА.

Эта „семейная хроника“ изъ грознаго 1905 года является не въ журналѣ, а прямо — отдѣльной книжкой. Трудно, въ нынѣшнее партійное время, найти ту объективность оцѣнки, безъ которой авторъ не можетъ имѣть полной свободы ни въ содержаніи, ни въ формѣ своей вещи. И на моемъ длинномъ поприщѣ русскаго бытописателя я, въ первый еще разъ, обращаюсь съ самага начала не къ ограниченному кругу подписчиковъ журнала, а къ массѣ публики.

То, что здѣсь изображено — уже было и кануло въ прошлое. На всю эту кровавую „смуту“ можно уже въ настоящій моментъ посмотреть — на извѣстномъ разстояніи, не внося тяжкой душевной тревоги, какая неизбежно овладѣвала бы читателемъ два слишкомъ года назадъ.

Но кто самъ переживалъ эти незабываемые дни, уйдетъ всей душой въ память о тѣхъ, уже „историческихъ“ испытаніяхъ родины — и ея центра, нашей старой столицы.

П. Боборыкинъ.

Москва, 19-го февраля 1908 г.

ВЕЛИКАЯ РАЗРУХА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Кругомъ усадьбы воетъ вѣтеръ. Въ угловомъ окнѣ барскаго дома виденъ свѣтъ. Тамъ живетъ старый баринъ — „дѣдушка“, какъ его зовутъ всѣ свои, даже и прислуга.

Онъ сидитъ въ высокой, просторной комнатѣ, гдѣ въ альковѣ и спитъ, — сидитъ цѣлыми днями. Ноги отказываются служить ему. И на правое ухо онъ сталъ туговать. Но голова еще до сихъ поръ свѣтлая. А ему съ осени пошелъ восемьдесятъ пятый годъ.

Дѣдъ готовится къ „отплытію“, — такъ онъ говоритъ спокойно, и почти радостно ждетъ кончины, и надѣется на то, что она будетъ „безболѣзненная“, „непостыдная“ и „мирная“.

Нѣтъ въ немъ мистицизма, нѣтъ себялюбивой мечты о „вѣчномъ“ блаженствѣ, но онъ остался вѣренъ завѣтамъ юности, когда идеалистическая философія окрыляла его на борьбу за три живительныхъ начала: „истины, добра и красоты“.

Онъ остался поэтомъ, и образы, звуки, крылатые сны слетаютъ еще въ его тихую, стариковскую келью.

Но, готовясь къ переходу въ великое „все“, онъ тайно повторяетъ: „Ахъ, если-бъ еще пожить!“ То, что дѣлается съ его родиной, замолаживаетъ его. Когда онъ дрожащими руками развернулъ тотъ листъ, гдѣ дарованы были четыре свободы, онъ выговорилъ со слезами: „Нынѣ отпускаеши“.

Съ этимъ чувствомъ онъ продолжаетъ жить, не смущаясь тѣмъ, что вотъ тутъ, въ ихъ округѣ, идетъ глухое броженіе среди крестьянъ. А въ двухъ сосѣднихъ губерніяхъ только-что затихла эпидемія погромовъ, и теперь свирѣпствуютъ экзекуціи и разстрѣлы.

— Но, все-таки, „время грозное, небывалое“, — повторяетъ дѣдъ, и кажется, что ему хоть бы еще годика два-три, чтобы видѣть самому, чѣмъ все это разрѣшится.

Онъ сидитъ у бокового края большого письменнаго стола. Лампа съ абажуромъ освѣщаетъ только уголь стола и оставляетъ въ тѣни его сѣдую голову патріарха, съ бѣлыми кудрями и длинной бородой, и худой станъ въ темномъ шлафрокѣ.

Онъ отложилъ газету, снялъ очки и оглянулся на дверь въ коридоръ.

И вся остальная комната уходитъ въ полутемноту. Стѣны увѣшаны портретами —

надъ столомъ и на противоположной стѣнѣ. Все это близкіе: родители, товарищи, сверстники по литературѣ, друзья изъ разныхъ эпохъ, свои дѣти, внуки.

Сколько сошло уже „подъ вѣчны своды“, — этотъ пушкинскій стихъ онъ всегда употребляетъ, когда говоритъ о покойникахъ. Всѣ уходятъ, а онъ все еще значится въ живыхъ, перевалилъ за рубежъ новаго вѣка.

Всесильный инстинктъ приковываетъ его къ землѣ; а поэтическое „наитіе“ — нѣтъ-нѣтъ, да и осѣнитъ его. Тогда онъ беретъ карандашъ и на листкахъ записной книжки набрасываетъ свои думы.

„Думы“ эти — не старческое нытье, а все тотъ же порывъ къ свѣту, къ правдѣ и къ свободѣ. Онъ такъ же сильно ненавидитъ „гниль и нечисть“ того режима, который долженъ пасть подъ натискомъ „освободительнаго движенія“.

И когда придетъ номеръ журнала, куда онъ посылаетъ обыкновенно свои вещи, и онъ одинъ прочитываетъ свои стихотворенія вполголоса, — ему и жутко, и сладко. Смерть, быть можетъ, уже наклонилась надъ его кресломъ, а онъ еще трепетно отзывается на всѣ „откровенья бытія“, и ждетъ того дня, когда раздастся побѣдный кличъ возрожденной родины.

Сегодня онъ — въ особенномъ настроеніи. Черезъ нѣсколько часовъ, на разсвѣтѣ,

когда онъ уже будетъ спать, должны пріѣхать внукъ и внучка. Станція всего въ четырехъ верстахъ. Они просили и мать ихъ — единственную его дочь, оставшуюся въ живыхъ изъ всѣхъ его дѣтей, — не выѣзжать къ нимъ навстрѣчу.

Онъ позвонилъ. Изъ дверки въ коридоръ показалась голова паренька, въ полушубкѣ и валенкахъ.

— Барыня у себя? — спросилъ старикъ.

— Никакъ пришедши.

— Поди... узнай... и попроси ко мнѣ.

— Ладно!

Паренекъ — совсѣмъ еще деревенскій и не умѣетъ говорить съ господами. Но старецъ имъ доволенъ. По теперешнимъ временамъ — скоро и совсѣмъ останешься безъ прислуги. Если-бъ не его ноги — онъ могъ бы все дѣлать самъ. Кромѣ этого паренька, есть кухарка и горничная — бывшая няня внучатъ, да старикъ изъ дворовыхъ; тотъ и дрова колетъ, и печи топить; кучеромъ ѣздитъ другой малый.

Онъ не любитъ жаловаться на тяжкія времена, наступившія для господъ. Онъ любитъ зато повторять:

— Довольно покутили. Пора и честь знать.

Дверка тихо отворилась. Вошла его дочь — вдова, мать студента и курсистки, которые завтра, чѣмъ свѣтъ, должны быть въ усадьбѣ.

Она еще не старая женщина, блондинка, съ пепельными волосами, рослая, полная. На ней домашній халатъ, на ногахъ туфли-шлепанцы. Голову она прикрыла кружевной косынкой.

— Ты меня звалъ, папа? — спросила она пѣвучимъ, очень молодымъ голосомъ.

— Извини, Мэри... Можетъ помѣшалъ?

— Нѣтъ, ничего.

— Присядь.

Она сѣла противъ него, черезъ комнату, также въ кресло, около другого стола, сплошь покрытаго книгами.

— Надолго ли наши юнцы?—спросилъ онъ, прищурившись, съ тихой усмѣшкой.

— Ничего не пишутъ. Оба вольные казаки. И лекціи, и курсы закрыты.

— Да?!

Дѣдъ звонко вздохнулъ и сдѣлалъ широкій жестъ кистью правой руки.

— До ученья ли теперь... разсуди самъ, папа.

Дочь повела головой, вынула изъ кармана папиросницу и спички и закурила. Она не могла оставаться безъ куренья больше четверти часа.

— Боюсь я... здѣсь они затоскуютъ...

— Почему же? У нихъ и здѣсь найдутся интересы...

— Будутъ производить агитацію?

Онъ это сказалъ спокойно, все съ той же тихой усмѣшкой.

— Не знаю. У Мити есть пріатели на заводѣ. Лёля дружить съ учительницами... ты вѣдь знаешь.

И, выпустивъ дымъ, она немного скривила ротъ, что у нея выходитъ всегда, когда направление разговора начинается ее беспокоить.

— Я вѣдь не допрашиваю тебя, Мэри. Что-жъ! Молодежь теперь — первый номеръ. Она первая стала вести борьбу не на животъ, а на смерть, — добавилъ онъ съ блескомъ въ глазахъ. — Но мнѣ... заживо похороненному вотъ въ этомъ аббатствѣ, хочется знать напередъ — чего ждать? За себя я не боюсь... Изъ-за чего мужикамъ громить нашу усадьбу?

— Какъ знать! — обронила она.

— Мы только званіемъ помѣщики. Запасовъ нѣтъ. На арендѣ ты никого не прижимаешь...

— Это стихійно! Довольно того, что мы — „баре“, что у насъ достатокъ, а они живутъ въ тѣснотѣ, грязи и стужѣ, да еще голодаютъ.

— Наши вѣдь не голодаютъ?

— Не голодаютъ здѣсь, а въ округѣ дождають послѣдній хлѣбъ — двадцать, тридцать верстъ отсюда.

Въ ея тонѣ было нѣчто совсѣмъ отличное отъ того, какъ говорилъ отецъ ея. Онъ давно знаетъ, что и она — на сторонѣ мужи-

ковъ и рабочихъ. Но ему сдается, что въ ней постоянная внутренняя борьба. Она увлечена тѣмъ же движеніемъ, что и ея дѣти,—уже прямо изъ крайнихъ партій: дочь — социаль-революціонерка; сынъ — „эсъ-дѣкъ“, какъ и она сама его называетъ.

Но тутъ есть еще и другое вліяніе, вліяніе того мужчины, съ которымъ,—онъ догадывается не со вчерашняго дня,—у нея что-то похожее на интимную связь.

Боже его избави осуждать ее, возмущаться тѣмъ, что она „въ интригѣ съ разночинцемъ“ — съ начальникомъ ихъ станціи! Онъ—сынъ дорожнаго сторожа, побывалъ въ реальномъ училищѣ, получилъ здѣсь мѣсто два года тому назадъ, моложе ея на нѣсколько лѣтъ. Дѣти съ нимъ ладятъ, въ особенности студентъ. Ни онъ, ни сестра его какъ бы не хотятъ замѣчать, что онъ въ связи съ ихъ матерью.

Да если-бъ кто и позволилъ себѣ при нихъ осудить ихъ мать—не то что студентъ, а и курсистка сейчасъ бы дала отпоръ.

А что же тутъ дурного? Мать еще не старая женщина. Она привязалась къ отличному человѣку. Замужъ не выходитъ за него, не желая, чтобы кто-нибудь заподозрилъ его въ желаніи пристроиться къ помѣщицѣ въ качествѣ законнаго супруга.

Вѣроятно, оно такъ и есть.

Начальникъ станціи бываетъ здѣсь не осо-

бенно часто. Иногда заходитъ и къ нему. Онъ съ ней видится у него, на станціи.

— Вотъ я хотѣлъ о чемъ тебя спросить, Мэри, — началъ онъ нѣсколько другимъ тономъ. — Семень Лукичъ, навѣрно, въ курсѣ всего, что дѣлается здѣсь?

— Конечно.

— Что же, всеобщая забастовка... рѣшена по всей линіи?

Она не сразу отвѣтила.

— Можетъ, это тайна? — спросилъ старикъ потише. — Тайна и для тебя?

Послѣднее слово онъ какъ бы подчеркнулъ.

Въ первый разъ отецъ дѣлалъ ей прямо въ глаза такой намекъ на ея отношенія къ Семену Лукичу.

Она опустила глаза и сдунула пепель съ папиросы.

— Мэри, дитя мое, — заговорилъ старикъ, подавшись всѣмъ туловищемъ, съ протянутыми впередъ обѣими руками. — Я не имѣю права вторгаться въ твою душу! Ты меня щадила, не хотѣла огорчать меня. Но у меня нѣтъ никакихъ предразсудковъ. Ты вольна сближаться съ кѣмъ тебѣ угодно. Онъ хорошій человекъ. Но если онъ принадлежитъ къ этому самому союзу, если онъ приметъ участіе во всеобщей забастовкѣ... чѣмъ же это разразится?

— Не знаю, папа. Но почему же ты такъ обезпокоился... именно сегодня?

— Я не изъ-за собственной кожи! Ну, будетъ погромъ, ну, придуть мужики, все разорять, сожгутъ. Я могу погибнуть... кончать надо когда-нибудь... я только о тебѣ и твоихъ дѣтяхъ. Пойми ты меня!

Онъ заволновался. У него перехватило даже дыханіе.

— Папа... не волнуйся, ради Бога! Я не понимаю... что же ты хочешь, чтобы я тебѣ сказала?

— Но Семень Лукичъ... твой, — слово вырвалось у него противъ воли, — можетъ принадлежать къ движенію?

Дочь не поднимала глазъ на отца.

— Если правда то, чего ждуть со дня на день, и если онъ приметъ участіе въ забастовкѣ, развѣ это даромъ пройдетъ? Безуміе рассчитывать на успѣхъ! Начнется реакція... станцію разгромятъ, пойдутъ разстрѣлы. Развѣ этого не можетъ быть? Мэри! Милая! И вдругъ тебя тамъ захватятъ у него?

Въ полутемнотѣ комнаты высилась серебристая голова старца; глаза блестѣли, обращенные къ дочери съ тревожнымъ взглядомъ.

— Пощади ты себя, Мэри, пощади и меня! Дайте мнѣ уйти изъ жизни безъ такихъ ужасовъ!..

Дочь молчала.

II.

„Дѣти“ — студентъ и курсистка — пріѣхали гораздо раньше: не на разсвѣтъ, а поздно ночью. Дѣдъ спалъ. Они не позволили будить и мать свою и тихонько прошли къ себѣ, въ антресоль.

Ихъ встрѣчала няня. Она на радостяхъ всплакнула. Ямщикъ помогъ ей внести два ихъ чемоданчика.

Они были не одни. Съ ними пріѣхалъ еще какой-то мужчина. Нянкѣ онъ показался мастеровымъ. Одѣтъ онъ былъ въ короткій, крытый сукномъ тулупчикъ и большіе сапоги, отъ которыхъ пахло ворванью.

Барышня отвела ее въ сторонку и сказала ей вполголоса:

— Постели въ комнатѣ Мити, на диванѣ. Это нашъ товарищъ.

И слово „товарищъ“ она произнесла какъ-то особенно, такъ что нянька взглянула на нее, не удержалась и спросила:

— Какой же это товарищъ?

— Хорошо... сдѣлай о чемъ я тебя прошу. Они проголодались. Да и я бы чего-нибудь закусила.

— Соберу... чего ни на есть. Только водка-то въ шкапу, а ключъ у барыни.

— Не надо. Маму ни подъ какимъ видомъ не будить!

Барышню нянька любила меньше, чѣмъ ея брата—года на два моложе ея. Она похожа на мать, такая же рослая, съ густою косою, но суховата въ тѣлѣ, съ крутыми плечами, и лицо—съ строгимъ выраженіемъ, брови густыя, ротъ всегда сжатый.

Дорога утомила ее; но она сейчасъ же начала раскладываться, приготовила себѣ ночную кофту, и сама взбила подушки.

Комнатка ея оставалась все въ томъ же видѣ, съ годовъ ея ученья въ гимназіи, а потомъ на курсахъ.

И вотъ она теперь только по письменному виду значится курсисткой, но предалась со-всѣмъ другому „дѣлу“.

Оно владѣетъ ею всецѣло. У нея уже нѣтъ личной жизни. Вся ея душа, всѣ помыслы, заботы, мысли, поступки—все это отдано ему. Братъ и она—какъ бы одно существо, съ тѣхъ поръ, какъ они принадлежатъ къ „организаци“.

Но онъ юнѣе ея, съ болѣе пылкимъ и нервнымъ темпераментомъ. А у нея умъ ру-

ководить всей ея душевной жизнью, и каждое проявленіе воли, разъ она что-нибудь рѣшила, выливается у нея въ строго опредѣленную форму.

Она вещи свои раскладываетъ неторопливо, обдуманно. Руки ея заняты; она дѣлаетъ по комнатѣ размѣренныя движенія, а голова продолжаетъ работать.

Она еще мало знакома съ тѣмъ „товарищемъ“, котораго они съ братомъ привезли сюда. А вдругъ какъ онъ окажется агентомъ-провокаторомъ?

Ей противна излишняя подозрительность многихъ изъ ея подругъ; но слишкомъ много развелось этой „нечисти“. На кого-нибудь да уходятъ всѣ тѣ сотни тысячъ, которыя ассигнованы на шпіонство во всѣхъ сферахъ— и въ войскахъ, и въ интеллигенціи, и среди заговорщиковъ, и на фабрикахъ, и въ деревняхъ?

Няня приготовила имъ закусить рядомъ, въ пустой комнатѣ, гдѣ ночевали иногда гости.

— Пожалуйте! Чѣмъ Богъ послалъ!—пригласила няня обоихъ молодыхъ людей.

Сестра вошла туда первая. Братъ ввелъ ихъ спутника, молодого малаго, съ кудлатой головой, загорѣлаго, очень худого, въ шведской курткѣ, надѣтой подъ его тулупчикъ. Борода, рыжевато-русая, смягчала его обликъ. Глаза, глубокіе, темносѣрые выглядывали изъ-подъ надвинутыхъ густыхъ бровей.

Братъ курсистки былъ мало похожъ на нее — длинный, какъ жердь, съ болѣе темными, плоскими волосами.

Онъ остался въ синей шерстяной рубашкѣ, подпоясанной кожанымъ поясомъ.

— Садитесь! Садитесь, господа! — пригласила дѣвушка. — Напитковъ не будетъ, извините!

— Не суть важно! — выговорилъ съ хмурой усмѣшкой рабочій.

Ихъ ужинъ смахивалъ на то, точно они ночью разгавливаются. Няня добыла закусокъ и поставила большой кувшинъ квасу.

— Вы вѣдь здѣшній? — спросила дѣвушка рабочаго.

— Какъ же... я годъ цѣлый выжилъ на Чернобаевскомъ заводѣ. И по станціямъ у меня есть нѣсколько вѣрныхъ товарищей.

Онъ слово „товарищъ“ произносилъ съ такимъ же удареніемъ, какъ и она.

Братъ взглянулъ на сестру особенно.

— Вѣдь я же тебѣ сказывалъ, Лёля? Товарищъ Климовъ самый для здѣшней мѣстности подходящий человекъ.

— И прекрасно, — успокоительно отвѣтила она брату.

Всѣмъ хотѣлось говорить; но разговоръ не клеился. Они боялись нашумѣть и разбудить мать. Студентъ, утомленный переѣздомъ, нервно какъ-то подергивался и курилъ. Рабочій взглядывалъ на нихъ обоихъ немного

исподлобья, медленно жеваль, по-крестьянски, и звонко переводилъ дыханіе.

— Надо бы съ завтрашняго утра намѣтить нашу тактику, — выговорилъ студентъ.

И слово „тактика“ звучало у нихъ такъ же особенно, какъ и слово „товарищъ“.

Онъ оглянулъ сестру и рабочаго.

— Утро вечера мудренѣе, — замѣтилъ улыбувшись рабочій.

— Дайте мнѣ побывать вездѣ, гдѣ надо, — откликнулась дѣвушка спокойно и строговато.

Чувствовалось, что она гораздо посильнѣе характеромъ своего брата. Рабочій въ бокъ взглянулъ на нее и подумалъ, вѣроятно, какъ разъ это самое.

— И то сказать, мы сильно измаялись, — признался студентъ и тутъ же сладко зѣвнулъ.

— Мнѣ первымъ дѣломъ надо на обѣихъ станціяхъ побывать — и въ Голядкинѣ и въ Майданяхъ. А потомъ и на заводъ... Денька три буду въ отлучкѣ.

Рабочій заговорилъ объ экзекуціяхъ и карательныхъ отрядахъ.

Онъ говорилъ сдержанно, вполголоса, и въ глазахъ его, углубленныхъ въ орбиты, вспыхивалъ огонекъ, а ротъ слегка поводило.

Дѣвушка слушала его съ полуопущенными рѣсницами, и ей хотѣлось вѣрить, что этотъ „товарищъ“ пойдетъ и на вѣрную смерть, и на растерзаніе отъ казацкой нагайки или разъяренныхъ черносотенцевъ.

Она вскинула своими красивыми рѣсницами и улыбнулась.

— А вы имъ попадались въ руки, товарищъ? — спросила она его своимъ низковатымъ голосомъ.

— Пока не приводилось. А живымъ не дамся.

И онъ взялъ корочку хлѣба, посолилъ ее и сталъ медленно прожевывать.

„На этого, кажется, можно положиться“, подумала дѣвушка.

— Который часъ? — спросилъ студентъ. — Каюсь, господа, сонъ такъ и клонить.

— Идите. Завтра еще много времени. Все ли вамъ приготовила няня?

— Благодаримъ... все, какъ слѣдуетъ, — отвѣтилъ рабочій, всталъ, отряхнулся и поклонился короткимъ поклономъ.

Она довела ихъ до комнаты и спросила еще полушопотомъ:

— Не нужно ли чего?

— Иди, иди спать, Леля! Спасибо!

И черезъ двѣ минуты оба товарища уже спали мертвымъ сномъ.

А курсистка на цыпочкахъ прошла по коридору, остановилась у схода съ лѣстницы и стала прислушиваться, — не проснулись ли мать или дѣдушка. Онъ засыпалъ чуть не въ 9 часовъ, зато и просыпался съ пѣтухами.

Но въ старомъ, захолодѣломъ домѣ стояла

глубокая, почти жуткая тишина. Только внизу, на площадкѣ, старинные часы въ высокомъ футлярѣ медленно забили съ какимъ-то шипѣньемъ.

Долженъ быть часъ третій.

Она пришла въ свою комнату и начала не спѣша раздѣваться. Только въ постели почувствовала она усталость. Но голова была совсѣмъ свѣжая и даже возбужденная.

Изъ тѣхъ двоихъ „товарищей“ рабочей постоить за себя, знаетъ, на что онъ идетъ, не даромъ считается „сознательнымъ“, въ те-перешнемъ смыслѣ. Братъ ея — не изъ такого тѣста. Онъ пылкій и восторженный... Своей „платформѣ“ онъ не измѣнитъ. Но его ей жаль.

И не падетъ ли на нее тяжелое обвиненіе въ томъ, что она его затянула въ дѣло, гдѣ и побѣда можетъ быть достигнута только съ такими жертвами.

Да и есть ли въ ней самой полная вѣра въ побѣду... вотъ теперь, черезъ недѣлю, черезъ двѣ, черезъ мѣсяць?

Вопросъ заставилъ ее заолодѣть.

А старикъ, который доживаетъ тамъ внизу? Мать ея?

Мать сама захвачена тѣмъ же потокомъ. Ея судьба связана съ судьбой ея тайнаго со-жителя. Дочь знаетъ это и давно стряхнула съ себя всякіе предрасудки. Тѣмъ лучше! И мать очутится въ ихъ рядахъ.

На-дняхъ она все узнаетъ.

III.

Марья Ивановна — „Мэри“, какъ ее до сихъ поръ зоветъ ея отецъ, — ѣхала въ деревенской долгушѣ одна, по дорогѣ къ станціи. День былъ сухой, морозный, съ вѣтеркомъ. Она окутала голову большимъ платкомъ, ноги покрыла одѣяломъ, но все-таки ей было „только что такъ“.

До станціи считается всего четыре версты, а ей кажется, что это — такъ далеко. Дорога тряская, съ замерзшими колеями. Вѣтеръ крѣпчаетъ и рѣжетъ глаза.

Она уѣхала одна, точно тайкомъ. Дѣти пришли къ ней, когда она еще лежала въ постели. И дочь и сынъ знаютъ — кто ея „другъ“, и считаютъ ее своей единомышленницей; но они, на этотъ разъ, не открылись ей вполне, не начали говорить ей, что именно они будутъ здѣсь дѣлать. Сынъ сказалъ только:

— Семень Лукичъ, вѣдь, въ курсѣ дѣла?

Семень Лукичъ — ея другъ, начальникъ станціи. Отъ него она знаетъ, что на линіи „все готово“.

Она и сочувствуетъ ему и боится, боится за него, за дѣтей, за то, что можетъ выйти съ усадьбой, если погромы повернутся и въ ихъ сторону. Жаль бѣднаго отца, — чистую личность, идеалиста и поэта, безобиднаго и любящаго все человѣчество. Если его и не убьютъ, то подожгутъ домъ. Отъ одного испуга онъ тяжело заболѣетъ или тутъ же умретъ.

Вотъ уже больше года, какъ въ ней живутъ два существа. Одно — любящее, со всѣми страхами женщины; другое — попавшее подъ „гипнозъ“ того, что теперь владѣетъ всей революціонной Россіей.

И въ этой второй женщинѣ заговорилъ грѣшный инстинктъ. Еще до разгара „движенія“ она уже сошлась съ этимъ Семеномъ Лукичемъ. Правда, онъ сталъ привлекать ее своими идеями и протестами. Но ей было его жаль изъ-за его одиночества, болѣзненности, бѣдности, изъ-за той лямки мелкаго служащаго „изъ мѣщанъ“, какую онъ тянулъ прежде, чѣмъ добился мѣста начальника станціи.

Но это ли одно? Онъ моложе ея на десять лѣтъ, — ему нѣтъ и сорока. Лицо у него интересное, прекрасные глаза, вся фигура живописна и подъ глупой красной фуражкой.

А съ тѣхъ поръ, какъ они сошлись такъ быстро, почти внезапно, она минутами такая же „крамольница“, какъ и ея дѣти. У нея уже нѣтъ духа удерживать ихъ. Она скрываетъ отъ отца то, какихъ она взглядовъ, съ кѣмъ она за одно, чего она ждетъ съ тайнымъ трепетомъ.

Но Семень Лукичъ многого не договариваетъ, даже и въ самыя интимныя минуты. Можетъ быть, щадить ее.

И сегодня сынъ не захотѣлъ ей сказать всю „суть“ про своего товарища, этого фабричнаго Климова, котораго они привезли съ собою.

Тряская долгуша повернула съ проселка на земскій трактъ. До станціи всего съ полверсты. Везла ее одна лошадь. Молодой работникъ исполняетъ роль возницы. Настоящаго кучера у нихъ нѣтъ съ прошлаго года.

Передъ этимъ „Апалитомъ“ — такъ его зовутъ прислуга — ей всегда совѣстно. Онъ долженъ догадываться, зачѣмъ барыня такъ часто ѣздитъ на станцію, хотя никого не провожаетъ, и сама никуда не ѣдетъ. И Семена Лукича ему частенько приходится отвозить изъ усадьбы.

Но теперь уже поздно хоронить концы и совѣститься передъ честнымъ народомъ. Надо дѣйствовать, становиться направо или налево. Вотъ что гвоздемъ внѣдрялось въ ея мозгъ,

стучало въ виски, производило даже сердцебіеніе, а она имъ никогда прежде не страдала.

Наконецъ-то станція! Марья Ивановна и натряслась, и назяблась.

У подъѣзда станціи, на небольшомъ дворикѣ — двѣ крестьянскія подводы и тарантасикъ парой, — въ какихъ ѣздятъ волостные старшины, и еще тарантасъ тройкой съ колокольчикомъ кого-то ждетъ.

Ей помогъ сойти со скользкой подножки сторожъ. Онъ снялъ шапку и ухмыльнулся.

„И онъ знаетъ!“ — фраза пронизала ея голову. Кажется, она даже покраснѣла, чего съ ней не бывало прежде.

— Семень Лукичъ — у себя, въ конторѣ? — спросила она его.

— У себя-съ, пожалуйста.

Кругомъ, на полотнѣ дороги, нѣтъ еще никакихъ подозрительныхъ признаковъ.

Но что-то будетъ въ концѣ недѣли?... Можетъ, начнется и завтра!..

Она отворила тяжелую дверь на блокѣ и быстро прошла грязноватые сѣнцы; оттуда можно было, минуя багажное помѣщеніе, попасть къ начальнику станціи.

Семень Лукичъ сидѣлъ за столомъ и что-то считалъ на счетахъ. Ни его помощника, ни кого изъ служащихъ тутъ не было. Лѣвѣе, въ закутѣ, телеграфистъ щелкалъ на своемъ „Морзэ“.

— А! Марья Ивановна!

Онъ, до сихъ поръ, и съ глазу на глазъ, не зоветъ ее никакимъ ласкательнымъ именемъ. А тѣмъ паче здѣсь, почти что на людяхъ.

Онъ держитъ себя такъ, точно она „снизошла“ до него.—Это ее и трогаетъ и немножко обижаетъ.

— Пожалуйте ко мнѣ! Озябли поди?

Они перешли въ его собственный кабинетъ съ альковомъ, гдѣ было все чистенько прибрано. Разныя вещи на стѣнахъ и на столѣ она ему дарила; но ничего цѣннаго онъ не принималъ отъ нея.

— Вотъ сюда... голубушка.

Онъ усадилъ ее на клеенчатый диванъ, когда она сняла съ себя платокъ и мѣховое пальто, самъ сѣлъ рядомъ, взялъ ея руку и два раза поцѣловалъ.

Въ рабочей тужуркѣ онъ смотрѣлъ очень моложаво. Кажется, онъ подстригся. Не она ли ему сказала въ послѣднй разъ, что голова его ужъ черезчуръ „вихрится“?

— Ну, что дѣти?— былъ первый его вопросъ.

— Куда-то разошлись до обѣда. Вы ихъ видѣли вчера?

— Видѣлъ издали... Но меня задержалъ встрѣчный поѣздъ. А я хотѣлъ съ ними перекинуться парой словъ. Съ ними и Климовъ

— Да. Послушайте... Simon, — она его такъ звала, по-дворянски, — вы его хорошо знаете?

— Не то, чтобы досконально... Но знаю.

Она осмотрѣлась кругомъ.

— Не провокаторъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, — протянулъ Семень Лукичъ.

— А среди вашихъ служащихъ онъ извѣстенъ?

Взглядъ ея говорилъ больше, чѣмъ заключалось въ этихъ словахъ.

— Его знаютъ. Онъ вѣдь здѣшній.

Семень Лукичъ все еще держалъ ея руку.

— Послушайте, — она еще разъ оглянулась, — развѣ все уже готово?

Она произнесла это почти шопотомъ.

Взглядъ ея былъ и тревожный и просительный.

Сразу понялъ онъ ея душевную тревогу, но не сразу отвѣтилъ, а сначала поднялся, подошелъ къ двери въ закуту телеграфиста, плотно закрылъ и тогда вернулся и сѣлъ на то же мѣсто, рядомъ съ нею.

— Голубушка... началъ онъ, не поднимая своей красивой головы, — вы знаете, мнѣ жизнь моя не дорога. Слишкомъ уже много накопилось горя и злобы... черезъ край полилось. И какъ же я теперь пойду противъ товарищей? Вѣдь я клялся! Что жъ... измѣнникомъ оказаться? Или выдать?

— Зачѣмъ же выдавать? — обронила она, блѣднѣя.

— А какъ же быть - то? Отбояриться не

знаніемъ?.. Такъ дѣло само покажетъ, само на тебя донесетъ.

Ея рука схватила его нервную, худую руку.

— Значить, назадъ уже нѣтъ ходу? — глухо спросила она.

— Для меня нѣтъ!

— И это должно начаться...

— Вотъ какъ придетъ приказъ отъ исполнительнаго комитета. Еще два - три дня... больше недѣли наврядъ.

Голову онъ поднялъ, глаза блеснули.

Въ эту минуту „дѣло“ было для него дороже ея спокойствія. Она не должна пострадать, а отъ своей судьбы ему не уйти.

— За дѣтей страшно! — начала она, сдерживая скопившіяся въ горлѣ слезы. — Я — мать и соглашаюсь на ихъ явную погибель.

— Голубушка! — перебилъ онъ съ энергическимъ жестомъ правой руки. — Нешто вы могли бы ихъ удержать? Они оба были въ движеніи еще съ гимназической скамьи. Никакая сила теперь не удержитъ ихъ. Что жъ... какъ на исповѣди... будь я вѣрующей, какъ въ былое время: я ихъ ни къ чему не подбивалъ... а они меня окрылили... да и васъ такъ, родная... Правда или нѣтъ?

Она ничего не возразила.

— Великая есть сила въ такой молодежи... великая, несокрушимая. Нѣтъ у нихъ ни на капельку колебанія... хотя, между прочимъ, они и не одного толка: барышня ваша —

э съ - э р ъ, — выговорилъ онъ раздѣльно, — а Митя — э съ - дэ. Но обѣ партіи, когда пробьетъ грозный часъ борьбы... будутъ дѣйствовать сообща... какъ одинъ человекъ!..

— Страшно... я мать... и страшно, Simon, и жаль ихъ. Жаль и старика.

— Ивана Павлыча?

— Вдругъ все здѣсь разомъ всколыхнется. По линіи — забастовка... по деревнямъ громамы.

— Ему ничего не сдѣлаютъ.

— Какъ это знать?

— Навѣрняка говорю — ничего не сдѣлаютъ. Объ этомъ былъ толкъ.

— А дѣти? Я ночей не сплю. Мнѣ все представляется, какъ Митя — впереди толпы рабочихъ, съ топоромъ въ рукѣ...

Ладони рукъ ея прижались къ глазамъ.

— Или еще, — продолжала она, не отнимая отъ глазъ ладоней, — в а с ъ... ночью... или на разсвѣтѣ, стаскиваютъ съ постели, заставляютъ одѣться и ведутъ по платформѣ... и тамъ, у стѣны водокачалки, ставятъ съ завязанными глазами... Господи!

Тутъ только слезы брызнули изъ глазъ, и она тихо, жалобно заплакала. Это его потрясло. Онъ опустился на колѣни, схватилъ ее за обѣ руки и заговорилъ стремительно, подавляя свой сильный, вибрирующий голосъ:

— Голубушка! Радость моя! Безсильны мы

всѣ... увлекаетъ насъ стихія. Это выше нашей воли, нашей привязки къ жизни... всего, всего... Можете ли вы сомнѣваться въ томъ, какъ вы мнѣ дороги? Я сейчасъ отдамъ за васъ жизнь! А вотъ я безсиленъ. Значить,— то выше всего. Возьмутъ меня, сошлютъ, разстрѣляютъ. Все можетъ быть. А коли нѣтъ? — онъ гордо и восторженно поднялъ голову, — а коли нѣтъ? Это старушка на-двое сказала. Катится могучая волна. Я вѣрю! Я вѣрю! — вскричалъ онъ. — Безъ вѣры нельзя... И вамъ... матери, вамъ, озарившей мою жизнь... надо вѣрить.

И онъ сталъ порывисто цѣловать ея руки

IV.

Обѣдъ затянулся. Дѣдъ сидѣлъ въ своемъ креслѣ на колесахъ, и ему особенно прислуживала все та же „нянька“. Малый подавалъ. Отъ висячей лампы свѣтъ довольно ярко падалъ на круглый столъ, а вся остальная низковатая комната — надъ ней шли антресоли — оставалась въ тѣни.

Внуки сидѣли направо и налево отъ старика; дочь — напротивъ.

Разговоръ часто прерывался. Дѣду хотѣлось бы многое знать, но онъ стѣснялся ставить прямо вопросы. Это было бы похоже на выпрашивание.

Внучка рассказывала про Москву, митинги въ университетѣ и въ какой-то тамъ „Олимпіи“, про союзы. Онъ уже зналъ изъ газетъ, какія образуются партіи, зналъ и кого зовутъ теперь „кадетами“.

Студентъ ѣлъ сосредоточенно, низко опустил голову надъ тарелкой и не переби-

валь сестру, только изрѣдка что-нибудь скажетъ.

Дѣдъ, можетъ быть, такъ и не узнаетъ, что именно готовится у нихъ здѣсь, на со-сѣднемъ заводѣ и на станціяхъ желѣзной дороги. Онъ догадывается, что близится какой-то „день“.

И вотъ онъ—беспомощенъ, сидитъ, точно узникъ, лишенный правъ. Никто его не слушаетъ, никто не боится, ни о чемъ съ нимъ не посовѣтуется.

А онъ—„патріархъ“. Это дочь его—женщина, что сидитъ напротивъ него; это его внуки—„мальчишка“ и „дѣвчонка“, которыхъ онъ сажалъ на колѣни и кормилъ мармеладомъ и пряниками.

Поздно возмущаться, поздно чувствовать обиду. Такъ должно было случиться. Только бы они-то не загубили свою молодость!..

Но и въ этомъ онъ безсиленъ. Что имъ жизнь? Они несутся на вѣрную смерть, на ссылку, на каторгу, на висѣлицу, на разстрѣлъ. И курсистка еще „отчаяннѣе“, чѣмъ студентъ. Онъ знаетъ, что она „эсъ-эръ“, а онъ—„эсъ-дэ“... стало быть, она проповѣдуетъ революцію, и если сама не подброситъ бомбы, то не можетъ не быть тайной сообщницей террористовъ и анархистовъ.

Сухо, напряженно кончился обѣдъ. Дочь его нынче—сама не своя, глаза красны—значить, плакала, тамъ, на станціи,—а щеки

блѣдны; губы также побѣлѣли; прямо не глядитъ ни на него, ни на дѣтей и точно „въ ротъ воды набрала“, не проронила почти ни единого слова.

Перешли къ нему въ кабинетъ. Подали чай. Дочь усѣлась на кушетку и закурила. Студентъ также закурилъ, а курсистка сѣла въ уголь и взяла какую-то газету.

— Что же вашъ пріятель, фабричный, — заговорилъ первый дѣдъ, — отправился къ себѣ? Онъ вѣдь изъ Проскурова?

— Да, дѣдушка, — отвѣтила курсистка.

— Онъ не изъ ораторовъ?

Студентъ остановился посрединѣ комнаты и, сдунувъ пепель съ папиросы, выговорилъ шутливо:

— Да, „господинъ ораторъ“ — какъ наши увріеры называютъ.

— Господинъ ораторъ, — повторилъ дѣдъ. — Значить, это уже титулъ такой?

— Вродѣ того, — отозвалась курсистка и отложила газету на столикъ.

— Онъ, разумѣется, принадлежитъ къ рабочей партіи?

Старикъ почувствовалъ, что онъ сказалъ наивность, — „глупость“ — какъ навѣрно сейчасъ же оба они подумали.

И, желая поправиться, онъ уже посмѣлье продолжалъ:

— Позвольте... голубчики... я васъ выпрашивать не собираюсь. Если вамъ вашего ста-

раго... слишкомъ зажившагося дѣда немножко жалко, — вы, когда пробьете часъ... придете къ нему проститься... объ одномъ я только и прошу васъ, вотъ при вашей матери.

Онъ оглянулся въ ея сторону. Она перемѣнила позу и съ тревогой въ лицѣ обернулась къ нему.

— Ты не смущайся, Мэри, я больше ничего не скажу! За себя я не боюсь... Ну, ворвутся сюда, ну, разгромятъ все — на здорье!..

— Полно, дѣдушка, — остановила его курсистка. Тебя никто не тронетъ.

— Ну, и на томъ спасибо!.. А я только хотѣлъ, чтобы вы мнѣ разъяснили: какъ же вы теперь, — уже сообщаете дѣйствуете?

Студентъ бросилъ папиросу.

— Ты о комъ это? — спросилъ онъ и переглянулся съ сестрой.

— Да вотъ о васъ обоихъ... если васъ взять не какъ брата и сестру, а какъ приверженцевъ двухъ партій... Я плохо разбираюсь во всѣхъ нынѣшнихъ партіяхъ... и, какъ это нынче называютъ, — „платформахъ“, что ли! Но вѣдь ты, Митя, не одной платформы съ Лелей?.. Такъ или нѣтъ?

Старикъ прищурилъ глаза и поднялъ голову, глядя на внука.

Тотъ присѣлъ въ кресло, противъ него.

— Ты вѣдь знаешь, дѣдушка, что Леля и я не къ одной партіи принадлежимъ?

— Ну вотъ ты и объясни мнѣ — человѣку, какъ поэтъ говоритъ: „въ прошедшемъ вѣкѣ запоздалому“, — можете ли вы итти нога въ ногу... въ случаѣ революціоннаго взрыва? Сколько я читалъ и слышалъ, настоящіе марксисты — а ты, вѣдь, марксистъ, Митя?... вѣдь да? Скажи?

— Да, я марксистъ.

— Но какой? Есть вѣдь у васъ два толка... Мэри, какъ бишь это: большевики и меньшевики? Такъ вѣдь? — спросилъ онъ въ сторону дочери,

— Такъ, папа.

— Одни непримиримые... другіе поумѣреннѣе. Такъ ли, Митя?

— Пожалуй.

— Но почему же обѣ партіи между собою враждуютъ? Тутъ у меня былъ нашъ предсѣдатель управы... вы оба его знаете... Онъ также изъ кадетъ... даже лѣвѣе. Самъ называетъ себя радикаломъ. И онъ мнѣ много говорилъ на эту именно тему... и увѣрялъ, что вотъ эти, — старикъ повернулъ голову въ сторону внучки — васъ не выносятъ. Неужели это правда? Леля, что ты скажешь?

Курсистка спустила ноги съ кушетки и сѣла поперекъ нея.

— Теперь не такой моментъ, дѣдушка, чтобы свои домашніе счета сводить. Врагъ у насъ одинъ... стало — и платформа одна. Разница только въ тактикѣ. Они, — дѣвушка ука-

зала рукой на брата, — были слишком большіе книжники. Вѣрятъ и до сихъ поръ, что все уладятъ — только дай имъ овладѣть орудіями производства; а мы знаемъ и вѣримъ, что безъ коренной ломки ничего не будетъ путнаго. И вотъ они, — она опять указала рукой на брата, — безъ насъ не обойдутся.

Братъ искоса поглядѣлъ на нее и съ мѣста отозвался возгласомъ:

— Вотъ что!

И добавилъ, закуривая папиросу:

— Не сильненько ли сказано, Леля?

— Разумѣется... безъ насъ не обойдетесь!

— Что же... вы будете, поди, доказывать, что и всеобщая забастовка — а она не за горами — такъ же дѣло рукъ вашихъ?

Онъ чего-то не договорилъ. Дѣдъ сейчасъ догадался, что студентъ сказалъ лишнее. Но если они не хотятъ ничего ему раскрывать, — хотя такимъ путемъ онъ что-нибудь узнаетъ.

— Я этого не утверждаю, — поправила дѣвушка, — но забастовка въ настоящій моментъ, какъ средство тактики, — какіе она будетъ имѣть смыслъ и значеніе, по преимуществу? — подчеркнула она слово. — Ну скажи?

— Извѣстно — какіе!

— Нѣтъ, скажи прямо. Политическое значеніе?

— И социальное.

— Политическое... прежде всего, — нервнѣе

выговорила дѣвушка и встала съ кушетки. — И выходить, что вы, — она кивнула головой брату, — волей-неволей будете вовлечены въ нашъ фарватеръ!

Студентъ пожалъ плечами и потомъ вымолвилъ, какъ бы нехотя:

— Эта претензія при васъ и останется.

— Почему претензія, Дмитрій? — строже возразила курсистка. Почему претензія? Развѣ это уже не происходитъ теперь? И неужели ты станешь отрицать, что всеобщая забастовка — революціонная мѣра?

— А платформа рабочей партіи — не революціонная?

— Въ общемъ, но не въ смыслѣ тактики

Глаза у нея разгорѣлись, и щеки стали розовѣть.

Дѣдъ глядѣлъ то на одну, то на другого. Въ ихъ голосахъ слышались звуки если не злобныхъ враговъ, то сторонниковъ враждующихъ партій. Студентъ потише курсистки, но и онъ сталъ блѣднѣть. Вотъ они собираются вмѣстѣ низвергать существующій порядокъ; а все-таки у нихъ „драная грамота“. Старикъ и выговорилъ мысленно эти слова.

Дочь его не вмѣшивается въ ихъ споръ. Должно быть, она все прекрасно знаетъ. Для нея, какъ для матери, это все едино. Она видитъ, что имъ участи своей не избѣжать. Оба они — и дѣдъ, и мать — одинаково

безпомощны передъ судьбой, передъ натискомъ событій.

Вѣдь не удержишь же ихъ угрозой проклятій, какъ въ доброе старое время?

— Тактика, тактика! — подхватилъ студентъ... Если мы, въ данный моментъ, находимъ нужнымъ принять участіе...

— Въ возстаніи? — подсказала стремительно дѣвушка, и голосъ ея дрогнулъ.

— Ну, хоть и въ возстаніи... то все-таки — тогда, когда всеобщая забастовка сдѣлаетъ свое грандіозное дѣло. А она есть актъ рабочей тактики... только рабочей! Вы — что можете противопоставить этому? Вы — народники?..

— Я не народница... ты это знаешь, Митя! Зачѣмъ же ты на меня клеветашь?..

— Какъ не народница? Вашъ идеаль — мужицкій міръ... мужицкая націонализація земли, чтобы побольше расплодить мелкихъ буржуевъ, дворянъ отъ сохи, какъ ихъ теперь зовутъ.

— Это клевета! — почти крикнула она.

— Ну, пусть такъ!.. А что же съ этими дворянами отъ сохи предпринимать? Помѣщичьи погромы?.. Такъ вѣдь погромы имѣютъ смыслъ и значеніе только какъ разновидность борьбы батрака съ капиталистомъ.

— Почему же твой Климовъ пріѣхалъ къ нимъ?

— Кто тебѣ сказалъ? Онъ — мужикъ родомъ;

но онъ пролетарій съ головы до пятокъ, и если бы онъ сталъ на сходѣ распропагандировать господъ дворянъ отъ сохи, они его свяжутъ и представятъ земскому начальнику.

Въ дверяхъ показался малый и сказалъ вполголоса:

— Баринъ... Дмитрій Сергѣичъ!.. Васъ господинъ Климовъ просятъ выйти къ нему на минутку... Спѣшное дѣло.

Студентъ бросилъ окурокъ и молча выбѣжалъ изъ комнаты.

Дѣдъ сидѣлъ молча. Дочь его также. Курсистка вернулась было на кушетку; потомъ и она убѣжала

V.

Старшій машинистъ Ковальчукъ сидѣлъ на подоконникѣ въ своей казенной комнатѣ, низкой, темной, очень сырой и полной въ эту минуту табачнаго дыма.

Онъ уже не молодъ, лѣтъ подь сорокъ; густые усы съ просѣдью, весь прокопченный, порядочно лысый, плохо бритый, въ курткѣ изъ верблюжьяго сукна.

Онъ курить изъ деревянной трубочки и то и дѣло сплевываетъ.

Закоптѣлая лампа съ пахучимъ керосиномъ тускло освѣщаетъ тѣхъ, кто размѣстился вокругъ круглаго стола. Тутъ, кромѣ студента и курсистки и ихъ пріятеля Климова, какой-то служащій съ малиновыми кантами тужурки, маленькій сухощавый блондинъ. Онъ все вскидываетъ пряди волосъ на высокій, влажный лобъ и безпрестанно затягивается папиромъ.

Ждутъ начальника, отправляющаго поѣздъ,

и посылали за учителемъ. Тотъ что-то запоздалъ.

Передъ каждымъ — по стакану чаю.

Братъ и сестра сидятъ другъ противъ друга. Рабочій, рядомъ со студентомъ. Блондинчика они видятъ въ первый разъ и даже не знаютъ его фамиліи. Но если его позвали къ Ковальчуку на „совѣщаніе“, значитъ ему довѣряютъ и хозяинъ квартиры, и самъ начальникъ станціи.

Ковальчукъ ночью вернулся изъ Москвы, привезъ самыя новыя вѣсти. И курсистка, и студентъ, и рабочій многое уже знали, но больше—изъ разныхъ „районовъ“, изъ того, что было на митингахъ. Его вѣсти—почти исключительно желѣзнодорожныя.

Но онъ не былъ рѣчистъ, говорилъ съ южнымъ акцентомъ и держался полушутливаго тона, который московскимъ его собесѣдникамъ не особенно нравился. Точно онъ не очень-то беретъ „въ сурьезъ“ все движеніе; а между тѣмъ, онъ членъ союза, и его Семень Лукичъ считаетъ „человѣкомъ дѣла“.

Служащій въ тужуркѣ спросилъ его сиповатымъ и высокимъ голосомъ:

— Назаръ Саввичъ, на какой же день рѣшили?

— Въ эту субботу — обязательно.

Ковальчукъ сплюнулъ и тихо засмѣялся въ усы.

— Да и чего годить? Чего?.. Чтобы всѣхъ переловили? Къ тому идетъ.

„Идетъ“ у него выходило „идеть“ — съ мягкимъ знакомъ.

— А вы какъ слышали? — обратился служащій къ студенту.

— Дня еще не было назначено; но не поздно будущей недѣли.

Онъ переглянулся съ Климовымъ.

— Дѣло въ томъ, товарищи, — заговорила курсистка, — чтобы движеніе захватило сразу всѣ союзы и организаціи, чтобы всеобщая забастовка получила значеніе высокой политической тактики.

Машинистъ, все съ тою же усмѣшкой, поглядѣлъ на нее вбокъ.

— О тактикѣ-то довольно перетряхаютъ вездѣ! Не въ этомъ вся эссенція... А въ томъ, чтобы сразу, въ одинъ моментъ — и стопъ машина! Ни паровоза, ни телеграфа, ни телефона, ни угля, ни воды. Вотъ это будетъ чудесно! Ха - ха!

Отворилась дверь, и вошелъ начальникъ станціи.

Онъ былъ также въ форменной тужуркѣ.

— Простите, товарищи!.. задержали меня... съ разнымъ вздоромъ.

Онъ сѣлъ между служащимъ и Климовымъ и тревожно взглянулъ сначала на студента, потомъ на его сестру.

Ихъ отношенія до сихъ поръ какія-то

странныя. Мать ихъ говорила ему не разъ, что дѣти должны давно „обо всемъ догадываться“. Это лишало ее всякой увѣренности въ себя. Объясниться — неловко, тяжело, да и бесполезно.

А онъ того мнѣнія, что и сынъ и дочь нисколько не осуждаютъ мать, и если что въ этомъ не такъ, какъ бы они поступили, такъ это то, что ихъ мать и человекъ, съ которымъ она „живетъ“ — стыдятся своей связи, не хотятъ сдѣлать ее открытой, жить, какъ мужъ и жена, даже и оставаясь одинъ на станціи, а другая — въ усадьбѣ, при старикѣ-отцѣ.

И все-таки и ему съ ними бываетъ неловко, особенно при постороннихъ.

— Вотъ, Семенъ Лукичъ, — заговорилъ служащій, обернувъ къ нему голову, — въ Москвѣ рѣшено въ субботу начать обязательно, — подчеркнул онъ.

— Что-жъ! Тянуть нечего! — сказалъ онъ и опять поглядѣлъ сначала на брата, потомъ на сестру. — Мы здѣсь готовы, — выговорилъ онъ потише. Вѣдь такъ? — спросилъ онъ въ сторону машиниста.

— Еще бы! — отозвался тотъ. — За свою команду я могу поручиться.

— Только бы товарищи съ мануфактуры насъ поддержали.

Съ этими словами начальникъ станціи обратился къ рабочему.

- Тамъ всѣ готовы.
- А на сахарномъ заводѣ?
- Не нынче-завтра будетъ катавасія.
- Погромъ?
- Въ родѣ того.

Всѣ почему-то примолкли, точно ожидали, что начальникъ станціи обратится къ нимъ съ рѣчью.

А онъ ждалъ отъ студента чего-нибудь „принципіального“. Ему самому хотѣлось говорить, но что-то его удерживало, и онъ былъ очень недоволенъ собою за такое „малодушіе“.

— Я просилъ учителя,— началъ онъ,— Степана Матвѣича, пожаловать сюда. Онъ здѣсь вновѣ; но, по всѣмъ видимостямъ, парень душевный и у здѣшнихъ соглядатаевъ на дурномъ счету.

— Какъ фамилія? — спросилъ студентъ.

— Галактіоновъ, Степанъ Матвѣичъ. Холостъ, большой скромникъ... ребятишекъ сразу привязалъ къ себѣ. Гдѣ-то уже посидѣлъ.

— А онъ смекаетъ, что у насъ готовится?

Вопросъ машиниста заставилъ всѣхъ повернуть къ нему головы.

— Я позондировалъ почву и полагаю, что онъ, во всякомъ случаѣ, въ нашихъ врагахъ не очутится.

— Участіе такого учителя очень цѣнно! — замѣтила курсистка. — Онъ живетъ въ самомъ училищѣ?

— Да, да.

— Чего же лучше заручиться такимъ пунктомъ.

— Для чего? — остановилъ ее братъ.

— Какъ для чего?— нервно перебила она.— Въѣдъ надо на все готовиться. Раненые будутъ.

— Правильно,— пустилъ машинистъ, все еще съ своего мѣста на подоконникѣ.

— А на доктора... можно рассчитывать?— спросилъ студентъ.

— Онъ приписался къ союзу, и вообще господинъ изъ передовыхъ,— объяснилъ начальникъ станціи.— Но случится ли онъ здѣсь,— рассчитывать трудно. Фельдшеръ — пьянчуга и дружить съ урядникомъ. Въ Грабиловѣ есть фельдшерица... Та всей душой наша, но случиться можетъ, что все стрясется вдругъ, и не успѣешь спосылать за ней. Отсюда добрыхъ двѣнадцать версть.

Кто-то постучалъ въ дверь.

Начальникъ станціи поднялся первый, отворилъ и окликнулъ:

— А! Это вы! Пожалуйста! Пожалуйста!

Онъ ввелъ учителя Галактионова. Съ нимъ, кромѣ него, никто не былъ знакомъ.

Студенту и сестрѣ его онъ сразу понравился: доброе лицо съ глубокими глазами, длинные, темные волосы, очки, одѣтъ въ ваточную поддевку, носить рубашку съ косымъ воротомъ и въ большихъ сапогахъ.

Всѣ пожали ему руку и посадили за столъ. Кто-то предложилъ покурить — онъ отказался.

— Изъ раскольниковъ? — спросилъ машинистъ.

Учитель ничего на это не замѣтилъ, только слегка усмѣхнулся.

— У васъ тутъ совѣщаніе, господа? — тихо спросилъ онъ, обведя ихъ взглядомъ своихъ голубыхъ глазъ съ затуманеннымъ выраженіемъ.

— Да... въ нѣкоторомъ родѣ, — отозвался первый начальникъ станціи. — Вы, кромѣ меня, никого здѣсь не знаете? — Это все наши единомышленники и товарищи, — выговорилъ онъ это слово съ удареніемъ. — Нашъ старшій машинистъ, — указалъ онъ на Ковальчука, — нашъ служащій — Сливинъ, господа Побѣдовы изъ усадьбы... студентъ и слушательница высшихъ курсовъ, и Климовъ — здѣшній уроженецъ, работаетъ на одной подмосковной мануфактурѣ.

— Очень, очень пріятно, — задушевно выговорилъ учитель. — Счастливъ, что нахожу здѣсь такую хорошую компанію.

Начальникъ станціи оглянулъ всѣхъ и продолжалъ въ болѣе приподнятомъ тонѣ:

— Вотъ видите, Степанъ Матвѣичъ, мы къ вамъ обращаемся съ довѣріемъ... какъ къ человѣку не только умственному, но и сочувствующему...

Учитель слушалъ, немного блѣдный, и сидѣлъ съ опущенной головой.

— Вамъ извѣстно, что близится часъ, когда по всей нашей линіи и по всѣмъ дорогамъ остановится движеніе.

— Я знаю хорошо,—какъ бы про себя вымолвилъ учитель.

— И, безъ сомнѣнія, сочувствуете намъ?

— Вотъ видите, господа,—началъ учитель и тутъ только поднялъ голову и смѣлѣе оглядѣлъ всѣхъ,—тому, что теперь, такъ сказать, всколыхнуло Русь, я бы сочувствовалъ, если-бъ то, что называютъ теперь „освободительнымъ движеніемъ“, могло обойтись безъ насилія и безъ крови. А этого не будетъ.

— Какъ же иначе?—кинулъ студентъ и покраснѣлъ.

— Лѣсъ рубятъ, щепки летятъ,—прибавилъ рабочій.

— Именно... а я, по моему, такъ сказать, исповѣданію вѣры, не могу признавать насилія... ни въ какомъ видѣ.

— Вы, стало, за непротивленіе злу? — на смѣшливо спросила курсистка и пристально взглянула на учителя.

— Именно. То, что мой учитель установилъ, можно сказать, ненарушимо, то я кладу краугольнымъ камнемъ того, къ чему призванъ человѣкъ на землѣ.

— Да... вотъ оно что,—сказалъ съ юморомъ машинистъ и крякнулъ.

— Вы, выходить, изъ толстовцевъ?— спросилъ въ такомъ же тонѣ рабочій.

— Не въ кличкѣ суть, господа! Я не могу осуждать того, къ чему вы готовитесь. Но изъ насилія, хотя бы и самого революціоннаго, ничего добраго выйти не можетъ.

— Мы это знаемъ!— остановилъ его студентъ.—Пока не возродится грѣховный чловѣкъ, мы должны сидѣть сложа руки и терпѣть?! Это изувѣрство, а не проповѣдь, достойная гражданина!

— Простите, я препираться съ вами не буду. Ко мнѣ обратились, выказали мнѣ довѣріе... Я цѣню это всей душой, и мой долгъ прямо сказать—кто я, и чего отъ меня можно ждаты.

— И на этомъ спасибо!— пустилъ съ своего подоконника Ковальчукъ.

Остальные промолчали.

VI

Братъ и сестра возвращались вдвоемъ въ той же самой таратайкѣ, въ которой мать ихъ ѣздила на станцію. Климовъ ушелъ пѣшкомъ на заводъ, гдѣ у него много знакомаго народа. Тамъ онъ будетъ и ночевать.

Сначала они молчали. И тотъ и другая были недовольны этимъ „совѣщаніемъ“ Вышло ни то, ни се! Ничего собственно и не было приготовлено. Курбачевъ, начальникъ станціи, все какъ-то ежился или говорилъ общія мѣста.

Они оба чувствовали, что онъ съ ними, при постороннихъ, стѣсняется.

Оба они знаютъ, что мать ихъ „живетъ“ съ нимъ. Этого грубаго слова они не употребляютъ и про себя, но имъ обоимъ было сегодня неловко; только они не хотѣли въ этомъ сознаться и самимъ себѣ.

Курсистка первая заговорила.

— Что это за индивидъ — учитель? А? Митя?

— Ты сама видишь, — толстовецъ

— Какъ же Семень Лукичъ сначала его не позондироваль?

— Онъ все витаетъ въ эмпиреяхъ! У него нѣтъ никакого нюха. И я сильно побаиваюсь, чтобы онъ что-нибудь не напуталь, когда придетъ рѣшительный день.

Ихъ везетъ все тотъ же парень.

Они знали, что онъ очень простоватъ; но все-таки нужна была осторожность.

Отъ Климова они уже слышали, что за ними сейчасъ же учредятъ надзоръ; а здѣсь — усиленная команда и урядниковъ и стражниковъ.

Третьяго дня они были на заводѣ у пріятелей Климова. Собралось до сорока человекъ. Студентъ сказалъ пламенную рѣчь. Климовъ былъ сдержаннѣе; но видно, что здѣсь его слушаютъ, какъ члена „комитета“. Было и нѣсколько молодыхъ крестьянъ изъ сосѣдняго села Майданы. Тамъ готовится погромъ сначала двухъ усадьбъ, а потомъ и завода, если рабочіе не добьются своихъ „правовъ“.

И все это можетъ совпасть съ взрывомъ забастовки по всей желѣзнодорожной линіи.

— Вѣдь это очень неприятный сюрпризъ, — заговорила опять курсистка, — что учитель такой уродъ... съ своимъ пресловутымъ непротивленіемъ!

— Школу мы все равно займемъ. Что же

онъ можетъ сказать противъ перевязки раненыхъ?..

— Ты слышалъ,—онъ противъ насилія. И помогать не станетъ.

— И доносить не будетъ!

— Почему ты знаешь?

— Сразу видно. Это — мистикъ. По крайней мѣрѣ знаешь, съ кѣмъ имѣешь дѣло... А вотъ тотъ блондинчикъ въ тужуркѣ... я рѣшительно не понимаю, зачѣмъ Курбачевъ его пригласилъ?

— И я также!

— Видь у него весьма подозрительный. Этотъ Семень Лукичъ... ходитъ, точно лунатикъ.

— Но какъ же быть, Митя... его не кѣмъ замѣнить?

Она чего-то не договорила.

Вѣдь этотъ Семень Лукичъ можетъ въ первую же голову полатиться! У нея нѣтъ къ нему нѣжности; но, вѣдь, матери ихъ обоихъ онъ дорогъ.

Неужели она сдѣлалась такой безчувственной? И ей все равно?

И точно отгадывая ея настроеніе, братъ выговорилъ спокойно, совсѣмъ дѣловымъ тономъ:

— Что жъ! Человѣкъ онъ преданный идеѣ. Это несомнѣнно. Мы должны его щадить и по другимъ соображеніямъ. Но какъ же тутъ

быть? Онъ обязанъ быть на своемъ посту. Выгорить дѣло — на щитѣ, нѣтъ...

— Разстрѣль? — полушопотомъ подсказала дѣвушка.

Онъ только пожалъ плечами и бросилъ окурокъ папиросы.

Таратайка стала подниматься отъ моста въ оврагѣ къ усадьбѣ.

Было очень темно, морозило; кочковатая дорога, съ колеями на подъемѣ, такъ и перебрасывала ихъ изъ стороны въ сторону. Когда они поднялись, наконецъ, на гору, старый домъ, видный въ глубинѣ двора, обнесеннаго частоколомъ, выступилъ темной глыбой. Свѣтъ виднѣлся только въ двухъ окнахъ, ближе къ заднему крыльцу.

— Это у мамы, — сказала сестра. — Дѣдъ, навѣрно, уже спить.

Залаяла одна изъ собакъ-овчарокъ.

— Къ заднему крыльцу! — приказалъ студентъ малому.

Они оба знали, что задній ходъ не запирается извнутри и можно потихоньку пробраться наверхъ. Но мать не спить, и отъ разговора съ ней не уйти.

Въ первой комнатѣ горѣла свѣча на полу, въ лохани съ водой. Кто-то спавшій на „ларѣ“ сейчасъ же вскочилъ.

— Это ты, няня? — первая окликнула дѣвушка.

— Я, я, Лелечка... вотъ задремала!

— Да зачѣмъ ты насъ ждала?

— А то какъ же? Покушать, небось, захотите?

— Я не прочь,—весело отозвался студентъ. Всѣ трое говорили вполголоса.

Нянька еще тише доложила имъ:

— Маменька васъ ждетъ. Не ложилась.

И дѣдинька только недавно потушили усебя...

— А что такое?—спросила курсистка.

— Тревожатся онѣ оченно. Отъ мамы сами узнаете...

— Развѣ что случилось?

— И дѣдиньку напугали... Приѣзжалъ земскій, безъ васъ... Да идите, идите, я сейчасъ только въ буфетъ заверну!

— Ты бы лучше сказала мамѣ,—заговорилъ студентъ,—чтобы она ложилась спать. Завтра еще успѣемъ поговорить...

— А ты не мудри! Ежели ей угодно видѣть васъ обоихъ, ты не фордыбачь!

Она добродушно потрепала его по спинѣ но въ глазахъ ея была сильная тревога.

Братъ съ сестрой переглянулись, прежде чѣмъ подниматься къ себѣ въ антресоль.

— Она у меня приготовила поужинать,—сказала сестра, заглянувъ въ свою комнатку, гдѣ горѣлъ ночникъ за алебастровымъ щиткомъ.— Ты придешь, Митя?

— Приду!

Имъ обоимъ было неприятно это неизбежное объясненіе съ матерью.

До сихъ поръ она не вторгалась въ ихъ „платформу“, не насилowała ихъ принциповъ, не пугала ихъ ничѣмъ особенно.

Но, разумѣется, она боится и за нихъ, и за него, за своего Семена Лукича, котораго они поневолѣ должны считать своимъ „товарищемъ“.

Студентъ снялъ съ себя пальто съ барашковымъ воротникомъ и остановился посрединѣ комнаты, заслышавъ голосъ матери.

Голосъ этотъ звучалъ быстро и нервно. Дверь туда закрыли, и онъ не могъ сразу хорошо разобрать, о чемъ она заговорила.

Онъ тотчасъ же прошелъ въ комнату сестры.

Та снимала съ головы пуховый платокъ, а мать сидѣла на кушеткѣ, повернувшись къ ней лицомъ, блѣдная, со слезами на глазахъ, непричесанная, въ кофтѣ и туфляхъ.

Она ему показалась очень „жалка“.

— Митя! — сдерживая звукъ, вскричала мать, увидавъ его. — Ради Бога... Я вотъ сейчасъ умоляла Лелю и тебя также умоляю... уѣзжайте вы отсюда!

— Что такое, мама? — ласково спросилъ онъ, присѣвъ къ ней, и взялъ за руку.

— Сегодня пріѣзжалъ земскій начальникъ... жаловался дѣду... Ты былъ на какомъ-то крестьянскомъ митингѣ... ему донесли въ волости. Завтра онъ поѣдетъ назадъ... И онъ

объявилъ дѣду, что если ты останешься здѣсь, онъ приметъ мѣры.

— На здоровье!

— Ахъ, мама, — отозвалась съ своего мѣста курсистка, — еще этого не доставало, какого-нибудь земскаго бояться!

— А если васъ обоихъ завтра же арестуютъ?

— Пускай! — задорно вырвалось у дѣвушки.

— Но пощадите вы хоть дѣда! Его хватить параличъ. За что же? Какое право вы имѣете такъ поступать? Если вамъ нельзя не производить революціонной пропаганды, выберите другую мѣстность. Имѣйте же вы настолькоъ человѣческаго чувства!

Дочь подсѣла къ ней съ другой стороны и также взяла за руку.

— Мама, — мягче и нервнѣе продолжала она, — скажи ты намъ разъ навсегда, — ты съ нами или противъ насъ?

— Я... не противъ васъ, — выговорила мать съ замѣтнымъ усиліемъ.

— Тогда къ чему эти упрасиванья? Мы — не бездушные эгоисты съ братомъ. Намъ жаль дѣдушку. Но, вѣдь, это чистая случайность, что онъ тутъ. Можетъ быть, черезъ два-три дня въ нашемъ присутствіи здѣсь не будетъ надобности... Тогда мы уѣдемъ. Но ужъ, конечно, не побоимся угрозы земскаго.

— А если васъ арестуютъ?

— Пускай! — повторилъ студентъ тѣмъ же насмѣшливымъ, полушутливымъ тономъ.

— Послушай, мама, — заговорила опять дочь, — ты не можешь помѣшать тому, что теперь происходитъ?

— Вѣдь, ты знаешь... отъ Семена Лукича, — продолжалъ студентъ за сестру, — что по линіи все готово къ всеобщей забастовкѣ?.. Вѣдь да?

— Знаю.

— А чѣмъ это пахнетъ? Нѣсколько дней все будетъ въ рукахъ центрального комитета союза... а потомъ начнется реакція.

— Это еще неизвѣстно! — горячо возразила сестра.

— Я иллюзіямъ не предаюсь, Леля! Надо на это итти впередъ!

— Что же ты хочешь сказать, Митя? — спросила мать, и голосъ ея дрогнулъ. — Начальника станціи схватятъ...

— Да... и могутъ тутъ же разстрѣлять.

Она сдѣлала надъ собою усиліе, чтобы не заплакать. И въ то же мгновеніе ей нестерпимо горько стало, что сынъ такъ беспощадно рѣжетъ ее по живому тѣлу.

— Зачѣмъ ты такъ говоришь? — прошептала она.

— Затѣмъ, мама, чтобы показать тебѣ, какой моментъ мы переживаемъ. Ты, вѣдь, знаешь, что онъ не измѣнитъ дѣлу, какъ бы ты его ни умоляла?

Она ничего не отвѣтила и оставалась съ опущенной головой, точно приговоренная, и слезы тихо сползали по ея лицу.

VII

Въ кабинетѣ дѣда сидѣли двое гостей.

Сегодня утромъ явился неожиданно его родственникъ, князь Сумской, по дорогѣ изъ имѣнія въ Петербургъ.

Визитъ князя былъ Ивану Павловичу не особенно пріятенъ.

Съ этимъ „внучатымъ племянникомъ“ у него давно скрытые нелады. Изъ князя на его глазахъ выработался „махровый“, такъ онъ называетъ экземпляръ „вотчинника“, непримиримаго борца „уваровской“ формулы. Онъ быстро дѣлаетъ карьеру въ Петербургѣ, и въ послѣдній годъ выдвинулся своей бѣлоснѣжной непримиримостью на всякихъ собраніяхъ и въ цѣломъ рядѣ патріотическихъ брошюръ.

Князь — еще свѣжій мужчина, лѣтъ за сорокъ, съ темной бородой, боярскаго типа, лысый, съ молодцоватыми усами, рослый, держится прямо, одѣтъ въ дорожную клѣтчату парю.

На пальцахъ у него перстни, на хрящева-
томъ носу — золотое *pinse-nez*.

Говорить онъ баскомъ, громко, отчекани-
вая слова.

Другой гость — мѣстный земець, котораго
прочать въ выборщики, Ниль Федоровичъ
Полуяровъ; кругленькій человекъ, съ курча-
вой бѣлокурой головой, полный, свѣжій, въ
усахъ, въ тужуркѣ военнаго покроя.

Онъ нетерпѣливо ерзалъ на кушеткѣ и
торопливо затягивался.

Хозяинъ сидѣлъ съ его стороны, въ сво-
емъ креслѣ на колесахъ, прикрываясь поло-
сатымъ пледомъ.

— Что вы говорите, князь! — вскричалъ
земець, на минуту вскочилъ и опять опу-
стился на кушетку. — Что вы говорите! Какое
право имѣете вы — называть лучшихъ лю-
дей страны кандидатами на висѣлицу?..

— Кто ихъ произвелъ въ л у ч ш і е? — пере-
билъ князь и нахмурилъ свои густыя брови.

— Какъ кто? Тотъ, передъ кѣмъ вы дол-
жны преклоняться, какъ передъ вѣщателемъ
вышей истины. Хорошъ вѣрнопопданный
русакъ... нечего сказать!

— Позвольте, — перебилъ опять князь, — я
попросилъ бы васъ держаться другого тона.

— Та-та-та! Мы здѣсь, батенька, по-просту
выражаемся. Да и вы тамъ, въ вашемъ клубѣ,
здорово ругаете всѣхъ, кто не хочетъ посту-
пать въ вашу секту.

— Секта! Ну, да-съ! — князь началъ сердиться и блѣднѣть. — Ну, да-съ! Секта... И безъ такихъ сектъ черезъ полгода у насъ — еще болѣе ужасная пугачевщина, чѣмъ та, которая уже охватила половину губерній Европейской Россіи.

Дѣдъ подался впередъ, въ сторону князя, и рукой пригласилъ его помолчать.

— А у тебя развѣ уже началось? — спросилъ онъ.

— Кругомъ пять погромовъ. Лѣса вырублены, лошадамъ и коровамъ вспороты животы, хлѣбъ въ зернѣ, спиртъ, мука, мебель въ усадьбахъ, — все расхищено и разбито вдребезги... рояли распиливали пополамъ...

— Это сенсаціонное дѣло уже прошло по всѣмъ газетамъ!..

— А вы чего же бы еще изволили желать? — огрызнулся князь на земца.

— Еще не то будетъ, если власть не сорветъ съ глазъ своихъ повязки... если она не призоветъ спасать государство...

— Кого-съ?

— Не вашихъ спасателей.

— А санкюлотовъ?

— Постойте, господа! — остановилъ дѣдъ. — Неужели нельзя по-человѣчески говорить? Вы — сторонники двухъ враждующихъ партій. Прекрасно. Но неужели несчастная наша родина не найдетъ средняго пути? Вѣдь согласись, что если Ниль Федоровичъ санкю-

лотъ — по твоему опредѣленію — то и ты, милый мой, тоже якобинецъ.

— Я, дѣдинька?

— Только съ другого конца! Но такіе, какъ ты — не уступятъ никакимъ якобинцамъ французскаго террора.

— Вы изволите шутить, дяденька!

— Нисколько, мой милый. У васъ тоже вѣдь нѣтъ никакихъ средствъ, кромѣ возгласа: „Покоряйтесь, языцы, яко съ нами Богъ!“ Не то, что уже жидовъ, но всѣхъ инородцевъ и иновѣрцевъ вы желаете согнать въ бараній рогъ. Только вамъ до тѣхъ — подлинныхъ якобинцевъ — далеко.

— Полагаю! Ха-ха! — не выдержалъ земецъ.

— Тѣ всѣхъ приводили къ одному знаменателю во имя единой Франціи. Истребляли вандейцевъ, громили непокорные города, но тѣхъ инородцевъ, которые не были имъ враждебны — они привлекали всѣмъ: и землей, и правами, и равенствомъ.

Иванъ Павловичъ произносилъ слово равенство съ удареніемъ на буквѣ „е“.

— Хорошо равенство... передъ гильотиной.

— Плохо знаешь исторію, милый мой. Они первые дали жидамъ право французскаго гражданства. Такъ же поступали когда-то и римляне. Ты, такой борецъ православія, вѣроятно не забылъ, что апостоль Павелъ — кровный жидъ и начетчикъ-фарисей — имѣлъ

права римскаго гражданства, что его и погубило, потому что онъ потребовалъ суда Кесаря, какъ *civis romanus*, и его повезли въ Римъ, гдѣ онъ и погибъ.

Вошла Марья Ивановна. Она уже обоихъ гостей видѣла и была впередъ смущена тѣмъ, что за завтракомъ ея дѣти могутъ столкнуться съ ненавистнымъ имъ „черносотенцемъ“, какъ они зовутъ князя.

— Папа, завтракъ будетъ готовъ только черезъ полчаса. Гости извинятъ. Вышла заминка.

— А у васъ есть еще поварь? — спросилъ князь.

— Кухарка.

— Какая роскошь! Я питался только сырыми яйцами.

— Нѣтъ, мы еще до этого не дошли, — замѣтила, усмѣхнувшись, Марья Ивановна.

Съ утра она въ тревогѣ. Отецъ ея боится за Лелю и Митю. Сегодня, должно быть къ вечеру, опять заѣдетъ земскій начальникъ. Отъ него можно ждать всего. Но если-бъ онъ и оказался порядочнымъ — все равно, и они не уѣдутъ отсюда раньше, чѣмъ имъ нужно.

А въ Москвѣ? Тамъ еще вѣрнѣе смерть на баррикадѣ. Вѣдь если забастовка не дастъ того, на что они всѣ рассчитываютъ — вооруженное возстаніе рѣшено въ принципѣ.

И тутъ еще этотъ князь. Она сама не выносить его. Хорошо еще, что дѣтей нѣтъ —

они скрылись сегодня чѣмъ свѣтъ, и когда вернутся — она не знаетъ.

— И вы, дяденька, — заговорилъ князь, вздѣвая рinсе-pez и прищуриваясь, — ждете здѣсь своей экзекуціи... когда господамъ пейзамамъ заблагоразсудится устроить у васъ даровой фейерверкъ? Какъ же вы, кузина, допускаете это? — обернулся онъ въ сторону Марьи Ивановны.

Она покраснѣла.

— Отца моего никто не обидитъ. Не правда ли, папа, ты самъ не желаешь бѣжать?

— Нѣтъ, не желаю, — кротко повторилъ старецъ.

— Съ Иваномъ Павлычемъ у крестьянъ нѣтъ никакихъ счетовъ, и зря они на погромъ нейдутъ, — сказалъ земець и поглядѣлъ вбокъ на князя.

— А! Зря нейдутъ! Превосходно! Значитъ, вы признаете, что это — законная репрессалія? У кого счета съ мужиками, того надо грабить и поджигать? Прелестная доктрина! Вотъ въ этакихъ чувствахъ наши либералы и воспитывали деревню... чрезъ своихъ эмиссаровъ.

— Какихъ? — почти крикнулъ земець.

— Какихъ? Учителей и учительницъ... Красная гвардія когда-то подпольной, а теперь явной крамолы.

— Вы клевете!

Земець выскочилъ на средину комнаты.

— Извините... это сущая истина.

— Это гнусный доносъ!

Князь, совсѣмъ блѣдный, выпятилъ грудь, издавая какіе-то звуки, въ родѣ легкаго шипѣнья.

— Я не могу-съ... продолжать разговоръ. И я попрошу Ивана Павлыча избавить меня...

— Отъ чего? — крикнулъ земець. — Отъ чего? Отъ выслушиванія такихъ истинъ, какую я сейчасъ поднесъ вамъ? Другихъ у меня нѣтъ въ распоряженіи.

Дочь смотрѣла на отца. Эта схватка казалась почти комической. А вѣдь подъ этимъ клокочетъ та „лава“, которая должна вырваться изъ „вулкана“.

Это — не фраза, не избитая прибаутка. Она знаетъ, что такъ будетъ не нынче, такъ завтра, не черезъ годъ, такъ черезъ два.

— Такихъ, какъ этотъ князь, сметутъ, да и такихъ, какъ этотъ земець и она, и ея отецъ — не пощадятъ.

Въ коридорѣ раздались скорые шаги. Она узнала походку дѣтей. Если они сюда забѣгутъ, — что-нибудь выйдетъ еще плачевнѣе, чѣмъ эта схватка двухъ дворянъ, одного — либеральнаго, другого — „черносотеннаго“.

Первымъ вошелъ студентъ, за нимъ сестра его. Они остановились у входа и, увидавъ князя, переглянулись между собою.

Сестра подошла къ дѣду и поцѣловала его

въ лобъ. И за нею студентъ; потомъ оба поздоровались съ матерью.

— Ты, кажется, не узналъ князя? — спросилъ дѣдъ, поглядывая на внука вбокъ.

— Узналъ, дѣдушка.

— Но не удостоиваетъ даже пожатіемъ руки? — выговорилъ князь.

— Съ княземъ Сумскимъ мы ничего общаго не имѣемъ, — отвѣтила за брата курсистка.

И оба разомъ вышли.

— Превосходно! — вырвалось у князя его привычное выраженіе. — Вы, кузина, побили рекордъ цивическаго воспитанія своихъ дѣтей. Прямо подъ разстрѣлъ! Ха - ха!

Дѣдъ закрылъ глаза и ничего не сказалъ. Мать сидѣла съ опущенной головой.

VIII

— И все еще не вернулись? — спросилъ Иванъ Павловичъ у дочери, сидя все въ томъ же креслѣ.

Это было уже вечеромъ. Оба гостя давно уѣхали. Студентъ и курсистка еще не возвращались, и мать не знала, гдѣ они находятся. Лошадей они не брали.

То, что вышло вотъ тутъ, между ними и княземъ — не особенно огорчило Ивана Павловича. Но онъ все-таки не могъ одобрить того, — какъ они „оборвали“ его внучатнаго племянника.

— Нѣтъ, папа, не вернулись, — не сразу отвѣтила Марья Ивановна.

— Стало, и заночуютъ гдѣ-нибудь?

— Они ничего не сказали.

— Ринулись... точно изъ зачумленнаго дома, — выговорилъ онъ полушутливо.

— Хорошо, что и такъ обошлось. Ты, я думаю, радъ, что князь убрался по добру,

по здорову. Вѣдь ты его самъ не выносишь.

— Онъ заѣдетъ въ губернской городъ. Губернаторъ — его товарищъ по лицу. Одного поля ягода. Это только подольетъ масла.

Земскій начальникъ почему-то не прѣхалъ сегодня; но онъ, навѣрно, еще пожалуетъ.

— Чего же ты боишься, папа? Что Митю вышлютъ? Но, вѣдь, ты самъ этого добивался.

— У меня голова идетъ кругомъ. Но такъ дальше не можетъ итти. Если все это изъ-за меня, изъ-за того, что я тутъ сижу, какъ старый сычъ — увезите меня... куда вамъ угодно! Я могу еще уцѣлѣть. Меня, быть можетъ, и не подожгутъ. Но и вамъ нельзя здѣсь оставаться. Тебѣ первой, Мэри.

Она сидѣла, какъ всегда, на кушеткѣ, укутанная пуховымъ платкомъ; ее лихорадило.

Такой жалкой показалась ему эта добрая, но слабая женщина, не сумѣвшая „соблюсти себя“, какъ бы надо было его дочери и матери уже взрослыхъ дѣтей.

— Ахъ, Мэри! — онъ глубоко вздохнулъ, — не хочу я тебя осуждать, но мочи моей нѣтъ... не могу и скрывать того, что меня гложетъ! Боюсь за нихъ, но скорблю и за тебя. Поди сюда, сядь поближе... Позволь мнѣ... въ послѣдній разъ, высказать...

Онъ не договорилъ, какъ бы боясь расплакаться.

Марья Ивановна вся какъ-то съежилась и пугливо оглянулась на дверь, точно ожидая, что вотъ-вотъ войдутъ ея дѣти.

Потомъ она, медленно двигаясь, приблизилась къ креслу отца и сѣла на высокую скамейку, куда онъ ставилъ иногда ноги.

Онъ положилъ ей руку на плечо и нагнулъ голову.

— Мэри, милая... я не осуждаю тебя. Судьба связала тебя съ этимъ человѣкомъ... Ничего не скажу противъ него. Куда ужъ теперь говорить о породѣ, объ аристократизмѣ? Но къ чему же губить себя?

Руки его, обращенныя къ ней, задрожали.

— Ты—слабая мать... Ты безсильна передъ дѣтьми. Да и нельзя тебѣ выступить передъ ними... они тебѣ зажмутъ ротъ, скажутъ: „Если ты, мать, сочувствуешь движенію, ты должна намъ помогать“. Навѣрно, ты уже наслушалась этого отъ нихъ?

Марья Ивановна кивнула головой и прикрыла глаза ладонями.

— Разумѣется, какъ же можетъ быть иначе? Но какъ же можемъ мы толкать ихъ на погибель?

— А что же мнѣ дѣлать отецъ?—нервно вскричала она.—Умолять уѣхать отсюда? Куда? Въ Москву? Они тамъ еще вѣрнѣе загубятъ себя... а обо мнѣ нечего сокрушаться, папа.

— Значить, ты сама идешь на казнь, если

тебѣ известно, что тутъ готовится... что-то на линии... придетъ команда, твоего... друга арестуютъ... или онъ попадетъ въ схватку.

— Я не могу его оставить. Уѣдемъ отсюда... въ городъ... Я перевезу тебя...

— И вернешься назадъ?

— Я не могу... пойми!

— И удержать его не можешь?

— Не могу. Теперь ему назадъ ходу нѣтъ.

Онъ не можетъ оказаться въ измѣнникахъ!

Старецъ полузакрылъ глаза и смолкъ. Рука его приласкала голову дочери.

Онъ все понялъ и все оцѣнилъ.

— Ну что жъ... будемъ ждать. Можетъ, уйдемъ изъ жизни вмѣстѣ... бѣдная моя Мэри?

Она схватила его руку и поцѣловала.

Почти жуткая тишина стояла вокругъ нихъ. Только часики, въ альковѣ около кровати, чуть слышно стукали.

Оба они—и этотъ запоздалый въ жизни старецъ, и дочь его, безсильная уйти отъ своей судьбы—слились въ одно чувство покорности тому, что безповоротно.

— Это они?—громко окликнулъ Иванъ Павловичъ и взялся кистями рукъ за боковыя подушки кресла.

Марья Ивановна поднялась, быстро поправила платокъ на головѣ, вся обдернулась и пошла къ двери въ переднюю.

— Я ничего не слыхала, папа!

— Они, они!

Да, шаги въ коридорѣ приближались
Это — Митя и Леля.

— Постой, Мэри! Если они повернуть къ себѣ наверхъ — позови ихъ сюда... Непременно. Я долженъ говорить съ ними... Быть можетъ, въ послѣдній разъ.

— Почему въ послѣдній, папа?

— Такое у меня чувство... Зови ихъ сюда.

Она заглянула въ темный коридоръ.

— Это вы... дѣти? — окликнула она.

— Мы, мама, — отвѣтила Леля.

— Вы обѣдали?

— Мы сыты, — сказалъ Митя.

— Дѣдъ зоветъ васъ къ себѣ... сейчасъ.

Онъ очень проситъ зайти. Слышите?

Оба повернули отъ лѣстницы.

— Здравствуйте! — встрѣтила ихъ мать у дверей кабинета. Мы вѣдь почти что не видались?

— Здравствуй, мама! — поздоровалась за обоихъ дѣвушка и приложилась засвѣжѣвшими губами къ щекѣ матери.

— Что онъ, все волнуется? — полушопотомъ спросилъ студентъ.

— Умоляю тебя, Митя, будь съ нимъ помягче. Пожалѣй его!

Студентъ только махнулъ рукой.

— Вотъ они оба! — громко объявила мать, вводя ихъ въ комнату. Говорятъ, что ѣсть имъ не хочется.

— Здравствуйте, дѣти! Простите, что я

васъ обезпокоилъ, позвалъ къ себѣ... на пять минутъ.

Глазами мать показывала имъ, что они могли бы поласковѣе поздороваться съ нимъ. Леля подошла и поцѣловала его въ лобъ. Братъ ея только прикоснулся къ рукѣ дѣда.

— Если вы устали... я васъ не задержу... Сядьте поближе.

— Ты о насъ безпокоился, дѣдушка?— первая спросила дѣвушка.— Какъ видишь, мы еще цѣлы и невредимы.

— Еще цѣлы, — повторилъ дѣдъ. Я приста- вать не буду, дѣти... Вамъ здѣсь оставаться нельзя. Нагрянетъ полиція, я это чувствую. И князь, котораго ты, Митя, такъ оскорбилъ, — наябедничаетъ губернатору.

— На здоровье, дѣдушка!

— Дайте мнѣ спокойно умереть! — сдавлен- нымъ голосомъ крикнулъ старикъ и весь затрясся. Послѣ меня живите, какъ хотите, дѣлайте, что хотите. Не долго! Я чую, — въ лампадѣ нѣтъ масла. Фитиль чадить. Пожа- лѣйте и мать... Если ужъ вы не можете не участвовать... въ революціонномъ движеніи, — выговорилъ онъ тверже, — тамъ, въ Москвѣ или въ Петербургѣ... уѣзжайте... хоть на два, на три мѣсяца.

— Куда?— подсказалъ студентъ.

— За границу поѣзжайте. Переждите. Кто знаетъ... можетъ, все прояснится. Сверху

сдѣлають уступки... Волна все подымается... Нельзя только давить, разстрѣливать, ссы- лать, гноить въ тюрьмахъ.

— Поздно, дѣдушка,— отвѣтила дѣвушка.— Мы не согласны скрыться въ такую минуту. Это — измѣна.

— Сколько бѣжало изъ вашей же братіи.

— Тѣ спасались. А намъ еще ничего прямо не грозитъ,— продолжалъ студентъ. Да и на какія деньги? Вы съ матерью перебиваетесь. Мы съ Лелей ни на что подобное не пойдемъ.

— Выйдетъ амнистія... и для тѣхъ, кто тамъ томится... всѣ вернуться.

— Сладкія мечты! — выговорила полушутливо дѣвушка.

— Такъ скажите вы намъ съ матерью — чего намъ ждать, что вы здѣсь затѣваете, что вамъ грозитъ — все, все скажите. Вы должны это сдѣлать. Я напуганъ... Я не хочу больше жить въ полномъ невѣдѣніи. Говорите... Я васъ не выдамъ... Не пошлю доноса жандармскому штабъ-офицеру, ха - ха!

— Зачѣмъ ты такъ волнуешься, дѣдушка? — заговорила курсистка.— Мы сами хотѣли заявить и мамѣ, и тебѣ, что намъ здѣсь надо пребыть до момента взрыва.

— Какого? — спросилъ дѣдъ.

— Ты знаешь... всеобщей забастовки... по всей линіи. Мы вѣримъ въ побѣду, но можетъ выйти и пораженіе. А главное... погромы будутъ... и скоро. Но тебя и маму не

тронуть. Больше мы ничего не можем сказать.

— Ничего? — переспросилъ Иванъ Павловичъ.

— Ничего, дѣдушка, — твердо выговорила курсистка.

— И на томъ спасибо... Слышишь, Мэри?

Мать ничего не сказала.

IX.

Сельская школа — пятистѣнная приземистая изба. Свѣтъ виденъ только въ послѣднихъ двухъ оконцахъ.

Тамъ живетъ учитель, тотъ самый, что былъ приглашенъ на совѣщаніе къ машинисту Ковальчуку — Степанъ Матвѣевичъ Галактионовъ. Онъ холостой, и у него нѣтъ даже кухни. Онъ самъ готовитъ себѣ на керосиновой плитѣ, а дрова и воду носить сторожъ.

За самоваромъ сидятъ они вдвоемъ — онъ и рабочій Климовъ, пришедшій къ нему съ полчаса передъ тѣмъ.

Посѣщенію учитель былъ радъ. Ему самому хотѣлось поговорить по душѣ съ этимъ рабочимъ. Вѣдь тогда, у машиниста, вышелъ разладъ изъ-за него. А что же ему дѣлать, если его убѣжденія не позволяютъ ему предаваться „насилію“, какую бы оно форму ни принимало?

И ему было пріятно, что Климовъ, придя

къ нему, безъ всякихъ оговорокъ и околичностей заговорилъ именно объ этомъ. Вотъ и теперь разговоръ ихъ еще продолжается, и Климовъ, не горячася, но съ упорствомъ и твердостью, отстаиваетъ правоту своей „платформы“ и „тактики“.

Не нравится учителю, что тотъ употребляетъ эти слова.

Зачѣмъ непременно „платформа“? Развѣ нѣтъ прекраснаго слова: „исповѣданіе вѣры“? А то что такое за платформа? И двойственно, и совсѣмъ чуждо духу языка! Это американцы пустили его въ ходъ, потому что у нихъ, на выборахъ, кандидаты выкрикиваютъ свои программы съ подмостковъ.

Или опять „тактика“?

Это отзывается войной. — Значитъ узаконяетъ всякое насиліе, бойни, коварные подвохи, все, въ чемъ человѣкъ уподобляется лукавому хищному звѣрю.

— Позвольте,— остановилъ его Климовъ,— позвольте, Степанъ Матвѣевичъ, неужели вы думаете, что можно въ одно мгновеніе ока превратить всѣхъ въ ангеловъ?

— Зачѣмъ въ ангеловъ?

— А то какъ же? Вашъ евангельскій человѣкъ не долженъ имѣть никакихъ страстей, ни одинаго помысла, помимо того, чтобы всегда и во всемъ водворять царство Божіе на землѣ... Такъ или нѣтъ?

— И это достижимо!

— Когда? Во сколько лѣтъ? Скажите хоть гадательно! И кто намъ съ вами мѣшаетъ — вотъ теперь — ходить изъ избы въ избу, изъ рабочей казармы въ другую рабочую казарму и денно и ночью проповѣдывать? Это возможно. Пропаганда — и не такая — производится безъ устали и все больше захватываетъ народу.

— Я знаю.

— А ваша толстовская пропаганда — по теперешнему времени — совсѣмъ ужъ безопасная. Чего! Всякій становой, каждый урядникъ даже въ умиленіе бы пришелъ, соберай мы съ вами митинги среди бѣлаго дня и возглашай: „Братья о Христѣ! Покайтесь! Будьте кротки, какъ агнцы! Не сопротивляйтесь никому! Дернетъ васъ кто по правой щекѣ — подставьте лѣвую! Ха-ха! Батюшка! Степанъ Матвѣичъ! Неужто въ сурьезъ можно вѣрить, что вы чего-нибудь добьетесь... хотя бы и въ двухлѣтній срокъ? Скажите на милость!

Галактіоновъ отвелъ лицо и наморщилъ высокій лобъ.

Его оскорбляло то, что сейчасъ сказалъ Климовъ, и то, какъ онъ это выговорилъ. Такіе доводы онъ считаетъ совершенно неподходящими, пустыми, ничтожными. Но личную обиду онъ всегда готовъ подавить въ себѣ. Развѣ можно тому, кто исполняетъ волю „Пославшаго насъ на землю“, злобство-

вать противъ тѣхъ, кто сидитъ еще во „тѣмѣ и сѣни смертной“. Они — заблудшія овцы, и только.

— Кто же говорить: въ два года? — съ наѣренной кротостью вымолвилъ онъ и налилъ чаю себѣ въ стаканъ.

— А то сколько же прикажете ждать? Христіанство-то сколько времени терпѣло муки?.. Ась? Вы умнѣе меня. Сами знаете. Да и я знаю, что только лѣтъ черезъ триста слишкомъ его признали. Царь Константинъ крестился. Съ той поры и пошло. Да какъ пошло-то? По-просту сказать для блезиру, съ казоваго конца... Изъ-за страха одного. Чтобы на томъ свѣтѣ не заставили раскаленные сковороды лизать или чтобы душенька твоя, во вѣки вѣковъ, прохлаждалась въ райскихъ палестинахъ.

— Зачѣмъ...

— Позвольте. На это вы, и вашъ набольшій, котораго я, между прочимъ, уважаю, скажете: „Вамъ не надо пряника на томъ свѣтѣ... вы ничего не просите!“ Но много ли такихъ-то было... съ тѣхъ поръ, какъ Христа распяли? И среди угодниковъ-то много ли? Спасались изъ-за вѣчнаго блаженства больше. Такъ или нѣтъ? Такъ вотъ и разсудите, добрѣйшій Степанъ Матвѣичъ... коли въ Христовой церкви, при поддержкѣ верховной власти, сотни, тысячи всякихъ проповѣдниковъ — и то не добились,

чтобы христіанское-то чувство вошло какъ слѣдуетъ въ душу, то что же вы-то сдѣлаете, хотя бы и въ полвѣка? А намъ ждать? Тѣмъ, кто теперь околѣваетъ отъ повсюднаго гнета, насилія, хозяйской жадности, безправія, самосуда, неисчерпаемой хляби всякой мерзости?!! И сложивъ руки — ходить по деревнямъ и фабрикамъ, и городскимъ ночлежнымъ домамъ и выкрикивать: „Не противляйтесь злу! Терпите! Воздѣлывайте въ себѣ внутренняго человѣка!“ Вамъ не позволено даже прибавлять: „Воздастся вамъ сторицей на томъ свѣтѣ!“ Въ это вы уже не вѣрите!

Климовъ отхлебнулъ изъ стакана, всталъ и заходилъ по комнатѣ широкой, развалистой походкой.

Учитель сидѣлъ надъ своимъ стаканомъ съ низко опущенной головой и размѣшивалъ сахаръ ложечкой.

Сколько могъ бы онъ сказать въ отпоръ этимъ измышленіямъ, исходящимъ отъ „князя міра сего“.

Но споръ ему противенъ. Споръ вызываетъ раздраженіе. Самъ станешь нападать и наговоришь много обидныхъ словъ. А злоязычіе — тяжкій грѣхъ! И безъ того онъ не во всемъ строго соблюдаетъ предписаніе своего учителя. Вотъ любить чай; а чай стоитъ въ разрядѣ тѣхъ видовъ „угожденія плоти“, которые искусственно возбуждаютъ нервы, въ родѣ куренія. Отъ табаку онъ, не

безъ борьбы, но отрѣшилъ себя; а отъ чая не можетъ еще отказаться.

Медленно поднялся онъ и подошелъ къ полочкѣ съ книгами, гдѣ нашелъ сейчасъ тонкую брошюрку.

— Вотъ... прочтите... тутъ все сказано въ сто разъ лучше, чѣмъ я могъ бы отвѣчать на ваши доводы.

Климовъ взглянулъ на заглавіе и имя автора.

— Спасибо... Знаете... я чителъ „Очерки Сахалина“. Тамъ предложили каторжанину что-то изъ писанія, а онъ возвратилъ и говорить: „Я этой фирмы папирось не курю“. Такъ безшабашно я не отвѣчу вамъ... Но, не обижая вашего вѣроучителя, Степанъ Матвѣичъ, скажу: довольно намъ поученій! Надо итти на приступъ! Побѣдить или сгннуть!

— Побѣдить или сгннуть! — повторилъ за нимъ учитель чуть слышно и нервно закрылъ глаза.

— Да, — побѣдить! — глухо крикнулъ рабочій, остановившись посрединѣ комнаты.

Лицо его замѣтно стало блѣднѣть. Глаза блеснули. Онъ повелъ правой рукой по волосамъ, откидывая голову назадъ.

— А кровь? А ужасы бойни?

Учитель закрылъ лицо обѣими ладонями.

— Мало ли что! Это — бой!

Онъ присѣлъ къ учителю сбоку, положилъ

ему руку на колѣно и заглянулъ ему въ лицо.

— Степанъ Матвѣичъ... я больше не буду вамъ перечить. Того, во что вы всей вашей подоплекой вѣруете — не стану отнимать у васъ. Но какъ же теперь быть? Мы тогда пригласили васъ... на сходку. Вы не думайте, чтобы кто изъ насъ... васъ потомъ въ чемъ-нибудь заподозрилъ.

Учитель кротко взглянулъ на него.

— Всѣ превосходно поняли, что вы отъ всей души, отъ всего помышленія вашего такъ говорили. Но какъ же быть теперь, Степанъ Матвѣичъ, милый человѣкъ?

— Въ чемъ? — разсѣянно спросилъ Галактионовъ.

— Не сегодня — завтра, не въ концѣ этой, такъ въ началѣ будущей недѣли здѣсь что-нибудь да выйдетъ.

— На станціи? — упавшимъ голосомъ выговорилъ учитель.

— По всей линіи. Зря я вамъ болтать не стану... Съ завтрашняго дня... стопъ машина!

— Всеобщая?..

Слово „забастовка“ онъ не договорилъ.

— Она самая! Денька два-три, ну недѣлю... все будетъ въ нашихъ рукахъ. А если тамъ... въ центрахъ - то не выгорить? Надо будетъ ждать сюда карательнаго отряда.

— Господи! — глубоко вздохнулъ учитель.

— Неужели вы откажетесь принимать наших раненыхъ?

— Куда? — растерянно сказалъ Галактионовъ и оглянулъ кругомъ комнату.

— Сюда... къ вамъ. Тогда какое же ученье? Все равно классная комната пустая будетъ стоять.

— Тѣ захватятъ.

— Мы не пустимъ сразу. Даромъ мы не дадимся. Мы надѣмся встрѣтить ихъ не съ пустыми руками.

— Какъ же я могу препятствовать? Ваши придутъ и овладѣютъ.

— Зачѣмъ такъ? Насилія вамъ никто не причинить. Да и вамъ вѣдь, добрѣйшій, не полагается противиться... лукавому. А мы пускай — инъ сойдемъ за лукавыхъ.

Онъ засмѣялся. Учитель молчалъ.

Х.

У дѣда съ утра сидить земскій начальникъ.

Онъ не любитъ этого Кирилла Петровича Богатова. Не за то одно, что онъ на дняхъ такъ его взволновалъ изъ-за внуковъ. Сегодня разговоръ начался опять съ нихъ же.

Все не нравится Ивану Павловичу въ этомъ худошавомъ брюнетѣ неопредѣленныхъ лѣтъ, двойственнаго тона, часто фальшиваго и недобраго. Онъ изъ университетскихъ, цензъ имѣеть по женѣ; служилъ прежде не то въ полици, не то въ акцизѣ, говоритъ высокимъ теноркомъ, курчавый, франтоватый, не курить и даже ничего не пьеть кромѣ чаю и квасу.

О внукахъ старецъ заявилъ ему тотчасъ же, что не имѣеть никакой возможности — насильно удалить ихъ изъ усадьбы.

— У васъ проживаетъ ихъ пріятель, рабочий Климовъ? — спросилъ земскій, прищури-

вая свои темные глаза. — Это уже известно мѣстному полицейскому надзору. Вамъ будутъ непріятности. Я счелъ долгомъ предупредить васъ, многоуважаемый Иванъ Павлычъ. Не скрою, полиція хотѣла уже произвести у васъ выемку, но я просилъ...

— Благодарю васъ!

— Но моментъ такой, что каждый день, каждую, можно сказать, минуту можно ждать... самыхъ печальныхъ событій.

— Я безсиленъ, — вымолвилъ Иванъ Павловичъ. — Я говорилъ съ моими внуками. Но если бъ они и уѣхали... въ Москву — еще скорѣе попадутъ въ бѣду.

— Но тамъ миллионъ жителей. Они не будутъ такъ на виду, какъ здѣсь. Я исполнилъ свой долгъ, многоуважаемый Иванъ Павлычъ.

— Да, да... — остановилъ старецъ.

Тонъ земскаго дѣлался для него нестерпимымъ.

— А теперь перейду къ другому... не мнѣе прискорбному дѣлу.

Старикъ вопросительно взглянулъ на него.

— Что же это такое?

— Сельское общество здѣшнее... наотрѣзъ отказывается вносить арендную плату... въ томъ числѣ и вамъ.

— Отказывается? — повторилъ старикъ.

— Желаете, чтобы я произвелъ надлежащее давленіе?

Глазки земскаго заискрились.

— Не безпокойтесь... Не хочу я никакихъ экзекуцій.

— Можно попробовать и безъ экзекуцій. Но ежели вы уклонитесь сами—это будетъ соблазнительный примѣръ. И безъ того мы, дѣйствительно, танцуемъ на вулканѣ. Изъ усадебъ моего участка—три уже ожидаютъ погромы. Васъ не разгромить... особенно если вы оставите втунѣ... вопросъ объ арендѣ.

— Ничего не хочу,—нервно заговорилъ старецъ, озираясь, какъ бы ища кого-нибудь, кто освободилъ бы его отъ тягостнаго разговора съ земскимъ. —Хочу умереть, господинъ Богатовъ... умереть хочу!

— Но вѣдь и для кончины, многоуважаемый Иванъ Павлычъ, такой, о какой каждый христіанинъ молить, нужно хоть какое-нибудь спокойствіе... И физическое и душевное. Если бы вы позволили дать вамъ благой совѣтъ... я бы, на вашемъ мѣстѣ, переѣхалъ въ городъ. Не въ Москву... тамъ съ каждымъ днемъ растетъ тревога... а по близости... въ нашъ губернской городъ... или въ одинъ изъ уѣздныхъ, менѣе захолустный.

— Чтобы черносотенцы и хулиганы ворвались къ вамъ и разгромили все потому только, что вы „антелигентъ?“

— Все-таки, менѣе риску. Васъ здѣсь не разгромить. Съ васъ не начнутъ,—какъ я

думаю. Но если войдутъ во вкусъ... эта иллюминація можетъ выдрать полъѣзда.

При этихъ словахъ земскаго вошла Марья Ивановна.

Ее третій день лихорадитъ. Она вся горитъ — съ пожелтѣвшимъ лицомъ, съ головой, укутанной въ пуховый платокъ.

Приѣздъ земскаго значиль, что дѣтей ея не хотятъ оставлять въ покоѣ. Она и вчера еще ждала, какъ бы ночью не нагрянула полиція. И сынъ и дочь ночевали дома.

— Многоуважаемая Марья Ивановна!

Земскій церемонно раскланялся и подошелъ къ ручкѣ.

— Вотъ, Мэри, — заговорилъ ея отецъ, — господинъ Богатовъ привезъ извѣстіе, что наши мужички отъ платежа аренды категорически отказываются.

— Что же дѣлать, папа?

— Умирать... вотъ что. Но я никакихъ мѣръ... воздѣйствія, — выговорилъ онъ съ ироніей, — не желаю... что и заявилъ сейчасъ господину земскому начальнику. Они, — онъ указалъ рукой на земскаго, — совѣтуютъ переѣхать въ городъ. Ежели ты особенно смущаешься тѣмъ, что здѣсь можетъ разыгратъ — переѣдемъ... на послѣдніе гроши. Пить-ѣсть и здѣсь нельзя даромъ.

— Я не боюсь, папа!

„И ты отъ него не уѣдешь“, — подумалъ

старикъ, и ему опять сдѣлалось обидно за дочь и жалко ее.

Имъ обоимъ суждено оставаться здѣсь, и они никуда не двинутся.

— Счелъ долгомъ... подать этотъ совѣтъ вашему батюшкѣ, а за симъ, — какъ сами изволите разсудить.

Земскій поднялся и спросилъ вполголоса, обращаясь больше къ дочери, чѣмъ къ отцу:

— А молодежьъ ваша отсюда еще не скоро перекочетъ въ Москву?

— Не знаю, Кириллъ Петровичъ. Вы можете намъ сказать, чѣмъ они рискуютъ, если заживутся здѣсь?

— Я уже предупреждалъ Ивана Павлыча. Въ Москвѣ они не такъ будутъ замѣтны, какъ у насъ.

Двойственная усмѣшка повела его большой ротъ съ тонкими губами, а правой рукой онъ дернулъ за клинышекъ своей бородки.

— А за симъ имѣю честь кланяться, многоуважаемый Иванъ Павлычъ.

— Прощайте-съ, — брезгливо выговорилъ старикъ.

Дочь проводила земскаго до коридора и сейчасъ же вернулась.

Они поглядѣли другъ на друга печально и выразительно. Имъ обоимъ все было ясно. Нельзя противиться судьбѣ.

Что они могутъ сдѣлать? Убѣжать въ городъ? Для него это будетъ равносильно ссылкѣ. Здѣсь, въ этомъ домѣ, онъ, хотъ мину-тами, поэтъ, на него слетаетъ вдохновеніе. Еще вчера онъ прочиталъ ей наизусть, не записывая на листкѣ бумаги, стихотвореніе въ нѣсколько четверостишій. Плачь о томъ, что раздираетъ его родину, и преклоненіе передъ высшей правдой. И сколько еще любви къ жизни, сколько вѣры въ сокровенный ея смыслъ теплится въ этомъ дряхломъ тѣлѣ.

Нѣтъ, нельзя его тревожить.

Да и она вѣдь не согласится бѣжать отсюда, хотя бы и въ городъ, и оставить того, кто можетъ не нынче — завтра погибнуть, тамъ, на станціи.

— Ты слышала... аренды не будетъ, — началъ онъ, стараясь улыбнуться глазами. — Къ тому идетъ. Какая же тутъ аренда — разъ они стоятъ на томъ, что земля — Божья?

— Какъ же теперь, папа? На что жить?

И, точно спохватившись, она присѣла къ нему на свой табуретъ и спѣша, почти шопотомъ, выговорила однимъ духомъ:

— У меня есть еще... два билета... выигранныхъ... есть нѣсколько золотыхъ вещей.

— Не надо.

— Что ты!

— Когда будетъ нечего ѣсть и нечѣмъ то-

пить... даже и соломой, — я пошлю имъ сказать: „Православные, старый баринъ просить муки и соломки“. Ха-ха! Больше ничего не придумаешь, бѣдная моя Мэри.

— Пока есть время... продать...

— Что? Усадьбу? — спросилъ старикъ, и голосъ его вздрогнулъ.

— А имъ ни чуточки не жаль тебя! — У нея глаза были полны слезъ. — Имъ ни до кого нѣтъ дѣла!

— Кому?

— Ни Митѣ ни Лелѣ... Хотятъ перевернуть всю вселенную. А сами живутъ на готовое.

— Полно, Мэри, ты часто говоришь, что они гордые... если и берутъ на свое содержаніе, то съ неохотой.

— Ихъ гордыня — что-то ужасное, папа! Фанатизмъ выѣлъ у нихъ изъ сердца все... Мы для нихъ — жалкіе остатки того міра, который долженъ рухнуть. Ну да, мы жалкіе... Мы имъ только мѣшаемъ. Но тогда надо со-всѣмъ разорвать, пойти въ простые фабричные, въ кочегары, въ поденьщицы! А они — интеллигенты! Вотъ и теперъ... развѣ имъ есть какое дѣло до того, что мы съ тобой переживаемъ?

— Но ежели они не хотятъ уѣхать отсюда... какъ же быть? По крайней мѣрѣ, они тутъ около насъ. Вѣдь вотъ и я — старый хрычъ, развалина, незаконно застрявшая въ

двадцатомъ вѣкѣ — не хочу двинуться отсюда. Даже будь у насъ съ тобой экономіи... и тогда я бы взмолился: оставьте меня здѣсь умереть. Такъ вѣдь и они. Когда они сами сбѣгутъ, а они сбѣгутъ не сегодня-завтра, когда имъ прикажутъ вернуться въ Москву, — ты будешь раздираема еще сильнѣе... что они тамъ, гдѣ ихъ ждетъ шальная пуля? И меня не захочешь бросить... и того, съ кѣмъ судьба связала тебя.

Она припала головой къ его колѣнямъ.

— Безсильны мы, Мэри... Но на насъ не ляжетъ клеймо. Не мы съ тобой только... а сотни, тысячи, десятки тысячъ отцовъ, матерей — о дѣдахъ и бабкахъ уже не говорю! — Мы не въ счетъ! Ты сообрази только: правительство вотъ уже тридцать лѣтъ держало молодя поколѣнія подъ гнетомъ жестокой муштры. И что же получилось? Юнцы отрицаютъ правительство! И оно добилось одного: отняло ихъ и у родителей!

Его рука приласкала ее по головѣ, точно маленькую.

XI.

Въ антресольной комнаткѣ студента совсѣмъ темно. Онъ лежитъ на постели одѣтый. Сестра его, также одѣтая, прилегла на кушетку.

Они давно уже говорятъ. Внизу всѣ спятъ. Климовъ долженъ явиться поздно ночью... въ какомъ именно часу — онъ не могъ опредѣлить; но „ни въ какомъ разѣ“, такъ онъ сказалъ, „не раньше часа ночи“.

То, съ чѣмъ онъ придетъ, — должно рѣшить вопросъ: когда имъ сняться? Быть можетъ, въ эту же ночь. Въ такомъ случаѣ, онъ долженъ пріѣхать въ тарантасъ, гдѣ бы они всѣ втроемъ могли помѣститься.

Движеніе на желѣзной дорогѣ стало разомъ, по всей линіи. Но они могли бы добраться до Москвы на поѣздѣ дружинниковъ, и тамъ долженъ разыгратъ первый актъ настоящаго возстанія, если правительство не пойдетъ на уступки.

А здѣсь они дали слово Климову говорить на сходкѣ заводскихъ. Онъ долженъ пріѣхать сказать, все ли готово. Комитетъ Климовъ организовалъ „живой рукой“. Его представители заявятъ управляющему, что они даютъ ему трехдневный срокъ по тѣмъ требованіямъ, которыя они считаютъ „минимальными“.

Будетъ отказъ — заводу не одобровать.

Они „улетучатся“, во всякомъ случаѣ, если не сегодня ночью, то позднѣе... завтра, послѣ-завтра.

Оба они сильно возбуждены. Движеніе на линіи прекратилось! Развѣ это не побѣда? На станціи всѣ держатся стойко, начиная съ начальника. Семень Лукичъ объяснился съ ними. Мать ихъ была при этомъ. Назадъ ходу уже нѣтъ! Это и она знаетъ и дѣдъ. Теперь ихъ оставили въ покоѣ. Всякій пусть за себя отвѣчаетъ.

— Дѣда жаль, — проговорилъ студентъ, поворачиваясь лицомъ къ кушеткѣ, гдѣ лежала курсистка.

— Мать будетъ при немъ. Вѣдь онъ самъ приставалъ, чтобы мы уѣзжали сейчасъ же. Его не тронуть... Ты самъ знаешь, Митя.

— Мать дрожитъ за своего Семена Лукича... пожалуй больше, чѣмъ за насъ.

— Ну, полно!

Дѣвушкѣ стало неприятно, что братъ заговорилъ объ этомъ въ такомъ тонѣ.

— Я не осуждаю. Ея дѣло! Но, если больше

за него дрожить — оно понятно. Мы можем остаться цѣлы. Это лоттерея... игра въ рулетку. А онъ... если явится на сцену карательный отрядъ — его, въ первую голову, приставятъ къ забору и... трахъ тара-рахъ!

По спинѣ дѣвушки пробѣжала струйка дрожи.

— Это—пустяки! Вотъ что ужасно — попасться въ руки черносотенцевъ. Издѣвательства, истязанія... хуже всякой казни! Ты вѣдь помнишь... тотъ студентъ, котораго подбрасывали въ Москвѣ, чтобы онъ на смерть разбился о мостовую?.. Вотъ гдѣ ужась!

Она и въ темнотѣ закрыла лицо ладонями.

— Все возможно. Скажи, Леля, ты вѣришь въ окончательную побѣду?

— А ты нѣтъ?

— Я знаю... ты сейчасъ будешь бурлить, подозрѣвать меня, обличать, какъ меньшевика. Но если забастовка не дастъ политической побѣды, и Москва объявитъ вооруженное возстаніе — гдѣ средства?

— Найдутся!

— Цифры нужны, факты! Припасены ли хоть двѣ тысячи винтовокъ? Сомнѣваюсь, и весьма! Погибнуть на баррикадѣ — смерть лихая; но дать себя постыдно раздавить — это глупая трата силъ.

— Нѣтъ глупыхъ тратъ, Дмитрій! — воскликнула дѣвушка, приподнимаясь на кушеткѣ. — Нѣтъ! Все пойдетъ на пользу. Все!

Не намъ съ тобой резонировать и взвѣшивать шансы! И дѣдъ нашъ сознаеть, что отъ судьбы своей не уйдешь. Море всколыхнулось, и его волны... или внесутъ насъ на верхъ, или поглотятъ.

— Леля! Я тебѣ скажу, какъ Базаровъ Аркадію: не говори ты такъ красиво!

— Нѣтъ, Митя, все это не то!

Она спустила ноги и продолжала сидя:

— Миѣ прискорбно, что мы съ тобой, хоть и участвуемъ въ движеніи, а все-таки мы—не одна душа! Ты еще не можешь стряхнуть съ себя твоего сектантства.

— Вотъ какъ! Даже сектантство?

— Обижайся, не обижайся, но я такъ называю! Въ тебѣ я вижу какое-то колебаніе. Сегодня ты меньшевикъ, завтра—какъ будто большевикъ. Но ни въ одной изъ этихъ формулъ нельзя тебѣ застыть.

— Кто же произвелъ такой грандіозный взрывъ рабочаго протеста, какъ не социаль-демократы? Ими будутъ добыты у власти всѣ уступки.

— Но безъ возстанія все равно не обойдется дѣло! И у васъ—въ томъ числѣ и у тебя—одна нога уже тамъ завязла. Мы вмѣстѣ начнемъ, но безъ насъ немислимо побѣдить.

— Безъ васъ,—повторилъ братъ съ особой интонаціей.

— Да, безъ насъ! Вотъ ты увидишь! За

всеобщей стачкой должно итти возстаніе. Это неизбежно! Это фатально! И вы всѣ будете вовлечены. Ты, небось, читаль что-нибудь о парижской коммунѣ?

— Вотъ еще! Разумѣется, читаль.

— Ну, такъ не будешь отрицать вотъ чего: въ коммунѣ большинство состояло изъ вашего брата... въ родѣ меньшевиковъ, что ли. А когда разразилась отчаянная трагедія... кто захватилъ власть? Старые якобинцы... Такъ-то, Митенька...

— Стало, вы — якобинцы? Это вѣрно!

— Ну, ты опять ту же пѣсню затянулъ. Не якобинцы, а люди, вѣрующіе въ то, что безъ революціоннаго взрыва никакого социальнаго возрожденія быть не можетъ!

Тирада эта вылетѣла у нея однимъ духомъ. Она опять легла на кушетку и положила себѣ руки подъ голову.

Братъ ничего не отвѣтилъ ей. Его началъ уже разбирать сонъ.

— Митя! — окликнула его сестра минутъ черезъ пять.

— Что? Что такое?

— Кажется, кто-то бросилъ въ окно, тамъ, на площадкѣ, горсть земли. Это, навѣрно, Климовъ. Я сойду отпереть.

— Лучше я!

Студентъ зажегъ свѣчу и вышелъ. Дѣвушка осталась въ томъ же положеніи. Она закрыла глаза и прислушивалась къ тому,

какъ поскрипываютъ разохшіяся ступени винтовой лѣстницы.

У дѣда сонъ чуткій. Онъ можетъ проснуться. Пожалуй, и мать. Но вѣдь они знаютъ, что Климовъ все еще живетъ у нихъ, хотя и пропадаетъ по цѣлымъ днямъ.

А если надо сейчасъ же собраться?

Что жъ,—разъ сказано, что такъ надо — и будетъ сдѣлано!

Полоса свѣта показалась на стѣнѣ, справа, въ отворенную дверь. Дѣвушка поднялась и сѣла на кушеткѣ.

— Ну, что? — спросила она порывисто.

Первымъ вошелъ студентъ. Климовъ переступалъ сзади, на цыпочкахъ, въ высокихъ сѣрыхъ валенкахъ, съ шарфомъ на шеѣ, въ короткомъ полушубкѣ, крытомъ сукномъ.

— Ну что, Климовъ? — повторила она, подавая ему руку.

Онъ пожалъ ее и сталъ разматывать шарфъ.

— Ну, погода!

— Дождь?

— Изморозь! И вѣтеръ анаемскій!

— Садитесь... вотъ сюда, — показала дѣвушка на конецъ кушетки, а сама присѣла на край братниной кровати.

— Какъ же стоитъ дѣло? — спросилъ, сдвинувъ брови студентъ. — Надо ѣхать... сейчасъ же?

— Нѣтъ, въ этомъ надобности нѣтъ... А

завтра все рѣшится. Съ утра мы — айда на завод! Васъ обоихъ желаютъ слушать. Только чтобы старецъ вашъ или маменька не всполошились.

— Уйдемъ чѣмъ свѣтъ! — рѣшительно выговорила курсистка.

— Ну, записку оставьте... Молъ мы... не совсѣмъ бѣжали.

— Дѣдъ насъ все равно умоляетъ удалиться! — съ юморомъ сказалъ студентъ.

— Но чего ждуть на станціи? — спросила дѣвушка.

— Лукичъ ходитъ ровно шальной. Все рѣчи произноситъ. Сколько поѣздовъ прошло... все наши. Ночи напролетъ онъ имъ кричитъ съ платформы и красной тряпкой машетъ...

— Въ Москвѣ держатся? — спросила она.

— Держатся! А мы здѣсь разомъ по всѣмъ по тремъ хватимъ...

Климовъ зѣвнулъ и тотчасъ закрылъ ротъ рукой.

— Умаялся я, товарищи...

— Идите спать, — сказала дѣвушка. — Времени не много остается. Значить, къ восьми надо быть уже одѣтыми?

— Всенепремѣнно, Елена Сергѣевна.

Она не любила, чтобы ее называли по имени и отчеству.

— За себя я ручаюсь. Не знаю, какъ Дмитрій.

— Постучи ко мнѣ въ дверь.

— А теперь, братцы, айда — каждый въ свою камеру. Ха-ха! Знаете, товарищи, ѣду я, трясеть анаемски, изморозь хлещеть въ лицо, а на душѣ ангелы поютъ! И пѣть и плясать хочется!

— Тс!.. разбудите всѣхъ — остановилъ студентъ. — Ступайте! Покойной ночи!

Онъ простился съ нимъ на площадкѣ, и Климовъ съ порога своей комнаты тихо крикнулъ ему:

— „Завтра двину рать!..“ Такъ вѣдь гдѣ-то говорится?

ХІІ.

Семену Лукичу кажется, что онъ грезить. Но все это происходитъ наяву. Вотъ онъ самъ лежитъ на своей койкѣ. Это его спальня. Это его ноги, голова, грудь. Если ущипнуть себя — будетъ чувствительно.

Проснулся онъ, по привычкѣ, рано, задолго до разсвѣта. Въ этотъ часъ приходитъ скорый южный поѣздъ, и онъ обязанъ самъ встрѣчать его.

Вотъ уже который день — поѣзда этого нѣтъ. Нѣтъ и другихъ срочныхъ, пассажирскихъ и товарныхъ. Есть только „свои“ поѣзда.

Она идетъ... давно желанная, лучезарная и всесокрушающая!..

Самое слово — революція — онъ и мысленно не произносилъ. Оно для него священно. Его не позволительно профанировать.

— Стала всероссійская машина, -- говорилъ онъ себѣ, лежа въ постели, точно произно-

силъ монологъ.—Стала! И на каждой станціи выполняютъ приказы... Чьи? Той силы, которая все покорить себѣ „подъ ноzi“. Она вырвалась, какъ струя горячаго пара изъ гигантскаго паровика.

И паровикъ этотъ — вся Россія. Кто въ настоящій моментъ не трепещетъ въ одномъ страстномъ порывѣ? Кто не стоитъ за всѣхъ тѣхъ, кто рѣшился показать свою силу тѣмъ опричникамъ?— воскликнулъ онъ мысленно.— А кто стоитъ за „порядокъ“, кто считаетъ такихъ, какъ онъ, крамольниками, тѣ — черная сотня, какъ бы они ни назывались: дворяне, чинуши, фабриканты, мужики, дворники, мясники, охотнорядцы!..

Всѣ эти дни онъ ни разу не ставилъ передъ собою холодящаго вопроса: „А если не выгорить — что тогда“?

Сегодня онъ всплылъ самъ собою, пока еще онъ лежалъ на своей желѣзной кровати.

„Что тогда“, — выговорилъ онъ беззвучно губами.

„Тогда — умирать будемъ!“ — отвѣтилъ онъ безъ секунды колебанія.— Развѣ на войнѣ задаютъ себѣ такіе вопросы? Всякій рядовой и каждый офицеръ знаютъ, что изъ ста человекъ если не половина, то треть должна выжить изъ строя. Экая важность! Но вотъ того, что теперь въ немъ трепещетъ, что наполняетъ его несказанной радостью и пламенной вѣрой, — этого никто у него не отниметь.

Мозгъ его рисуеть ему картину, полную лучезарнаго свѣта, на необъятной равнинѣ... гдѣ поють тысячи женщинъ въ бѣлыхъ одеждахъ и воздвигаются алтари ей — безсмертной богинѣ свободы и социальной правды!

Онъ незамѣтно заснулъ передъ разсвѣтомъ и когда раскрылъ глаза, то ему вдругъ представилось — да такъ ярко и властно — что сегодня — послѣдній день его жизни.

Вотъ близится поѣздъ съ карательнымъ отрядомъ. Передніе фонари зловѣще краснѣютъ. Они все ближе и ближе.

Если въ поѣздѣ рота солдатъ съ пулеметами — какое же сопротивленіе возможно?

У всей-то его команды нѣтъ и пяти винтовокъ. Да нѣсколько браунинговъ. Казнь — неминуемая.

Ночь, быть можетъ, продержатся; а на утро — экзекуція.

Его хватають, ведутъ вонъ туда, къ частоколу, по дорогѣ бьютъ прикладами, насмѣхаются, заставляютъ стать на колѣни.

Съ ругательствами всаживають ему три пули — въ високъ, и въ грудь, и въ животъ.

Все это такъ, нестерпимо живо представлялось ему, что онъ вскочилъ и сталъ поспѣшно умываться, чтобы стряхнуть съ себя этотъ кошмаръ наяву.

Но мысли кипятъ. Отъ нихъ никуда не убѣжишь.

Ну, онъ готовъ погибнуть... А та женщина, которая осчастливила его своей любовью? Что съ нею будетъ? Она и дѣтей можетъ потерять. Если не схватятъ ихъ здѣсь, такъ въ Москвѣ не уйдутъ отъ своей судьбы.

Вотъ и сегодня она, навѣрно, пріѣдетъ еще до обѣда.

О томъ, что теперь творится на линіи, они уже не разговариваютъ. Она знаетъ, что ему уже назадъ ходу нѣтъ.

Куда же онъ теперь дѣнется? Повиниться, выдать товарищей и рабочихъ?

Вся кровь бросилась ему въ лицо, когда онъ, съ полотенцемъ въ рукахъ, стоялъ передъ умывальникомъ.

Уже онъ теперь записанъ въ „книгу живота“. Начальникъ отряда съ него и начнетъ... Но другіе-то... не только изъ рабочихъ, но и изъ „служащихъ“... всѣ ли участвуютъ въ движеніи по доброй волѣ? А не изъ страха? Съ обѣихъ сторонъ — расправа одинаковая. И солдаты и дружинники — если пріѣдутъ сюда раньше — не станутъ церемониться. При первомъ подозрѣніи въ измѣнѣ — разстрѣляютъ такъ же стремительно.

Ему дѣлалось все жутче. Онъ наскоро одѣлся и въ тужуркѣ, накинувъ на плечи пальто, не выпивши чаю, вышелъ на платформу.

День стоялъ сумрачный. Изморозь опять моросила. Вѣтеръ третій день все дуетъ въ одну сторону и хлещетъ въ лицо.

На полотнѣ дороги нѣсколько грязно-красноватыхъ вагоновъ отведены на запасный путь. Одинъ рабочій — у водокачалки. Главный путь очищенъ. По нему долженъ, снизу или сверху, пожаловать поѣздъ — или со своими, или съ „карателями“.

Что-то у телеграфиста?

Онъ запахнулся и повернулъ назадъ къ станціи.

Шелъ онъ, низко наклонивъ голову отъ вѣтра.

Его окликнули.

Это былъ блондинъ, его сослуживецъ, въ одной тужуркѣ и въ фуражкѣ.

— Семень Лукичъ, я васъ ищу.

— Что такое?

Сердце у него сначала екнуло, а потомъ точно замерло.

— Сейчасъ долженъ быть поѣздъ... съ дружинниками.

— Кто сказалъ?

— По телеграфу. Пожалуйста въ телеграфную.

— Вышелъ со станціи?

— Не могу сказать въ точности. Но онъ уже былъ тамъ... въ Проскуровѣ.

Ему вдругъ стало весело.

— Спасибо, голубчикъ, за такую вѣсть!

Опять его охватилъ радостный трепеть. Голова заиграла. Въ груди спирало духъ.

Онъ побѣжалъ къ телеграфисту и крикнулъ блондину:

— Пожалуйста... голубчикъ... оповѣстите всѣхъ. Ковальчукъ не отлучался?

— Кажется, нѣтъ.

— Сбѣгайте къ нему. И остальную братію надо поднять на ноги.

Черезъ полчаса онъ стоялъ на изморози и вѣтрѣ, лихорадочно поджидая поѣздъ, уже извѣщенный съ ближайшей станціи. Всѣ выбѣжали на платформу.

— Идетъ! Идетъ!— крикнулъ какой-то стрѣлочникъ.

Поѣздъ шелъ полнымъ ходомъ, точно будто онъ не хотѣлъ самъ останавливаться у станціи.

— Ура! Товарищи! Ура!— гаркнуло нѣсколько голосовъ.

Паровозъ только шаговъ за сто сталъ замедлять ходъ.

Семень Лукичъ махалъ фуражкой и кричалъ.

Изъ окна перваго вагона развѣвалось что-то красное. Оттуда доносились крики. На площадкѣ стояли дружинники, въ мѣховыхъ шапкахъ, высокихъ сапогахъ, вооруженные.

— Семену Лукичу! почтеніе!— крикнулъ съ паровоза машинистъ и снялъ шапку.

— Братцы! Дорогіе товарищи! Заждались мы васъ! Господи!

У него пошли круги передъ глазами. Онъ бросился первый къ поѣзду и, еще на ходу, вскочилъ на подножку передняго вагона и

сталъ обниматься съ неизвѣстными ему молодыми людьми. Всѣ говорили разомъ, толпились, кто вскакивалъ съ платформы, кто сходилъ на платформу или прямо на полотно.

— Мы сейчасъ дальше! — крикнулъ одинъ изъ дружинниковъ, въ родѣ какъ начальникъ поѣзда.

— Чѣмъ васъ подчивать, дорогіе товарищи? — кричалъ Семень Лукичъ. — Все, что у насъ найдется... буфетишко-то нашъ убогій.

И онъ повелъ ихъ гурьбой на станцію. Ему казалось, что вотъ этотъ поѣздъ, всего изъ трехъ вагоновъ, съ кучкой дружинниковъ человекъ въ сорокъ — везетъ съ собою чудодѣйственное освобожденіе отъ всего, что давитъ и гнететъ родину, разобьетъ всѣ цѣпи, водрузитъ завтра же стягъ свободы, подъ которымъ соберется несокрушимое воинство „пролетарской“ республики.

Онъ увидалъ издали Ковальчука. Тотъ стоялъ у паровоза и разговаривалъ съ машинистомъ.

— Назаръ Саввичъ! — крикнулъ онъ ему. — Двинулась божья рать!

Тотъ кивнулъ ему головой и усмѣхнулся.

— Запоемте, товарищи! Душа проситъ излить полноту чувствъ!..

Онъ затянулъ и поѣзжане подхватили:

„Вы жертвою пали въ борьбѣ роковой“.

А паровозъ пыхтѣлъ, выпуская паръ, точно попадая въ размѣръ рабочей марсельезы.

ХІІІ.

Въ конторѣ сахарнаго завода съ утра большая тревога. Бухгалтеръ и конторщики перешептываются. Въ кабинетъ управляющаго то и дѣло входятъ стражники, урядникъ, нарядчики, мастера. Сейчасъ долженъ быть становой, можетъ и самъ исправникъ. Команда требовалась еще третьяго дня; но пришелъ отвѣтъ, что всѣ казаки и пѣхотинцы „въ расходѣ“, а драгунъ и совсѣмъ не будетъ. Они нужны въ городѣ.

Управляющій—изъ остзейскихъ нѣмцевъ, Адольфъ Христіановичъ Кесслеръ, ражій мужчина, съ круглой, лысой головой, бородачій и красивый—уже получилъ сегодня рано утромъ депешу отъ владѣльцевъ завода—„архимилліонщиковъ“, какъ ихъ вездѣ называютъ,—гдѣ ему приказано ни на какія уступки не итти насчетъ числа часовъ работы и ни подъ какимъ видомъ не уступать по дѣлу объ уволенномъ мастерѣ Селифонтовѣ.

Самъ онъ такъ злобствуетъ на всю эту „хулиганскую сволочь“, что только ждетъ не дождется дня, когда что-нибудь выйдетъ „особенное“, пришлютъ карательный отрядъ, и начнется общая раздѣлка и рабочихъ, и сосѣднихъ мужиковъ, держащихъ ихъ руку, всѣхъ, и мужчинъ и бабъ. Съ бабами у него на той недѣлѣ вышелъ скандалъ, и онъ впередъ смаковалъ тотъ моментъ, когда при немъ стражники и казаки будутъ класть бабъ на рогожку и „расписывать имъ всю Европу“.

Адольфъ Христіановичъ гордился тѣмъ, что онъ родомъ изъ города Риги, но любилъ крѣпкія прибаутки и говорилъ чисто по-русски.

— Господинъ становой пріѣхалъ! — доложилъ сторожъ, растворяя дверь въ кабинетъ управляющаго.

Управляющій всталъ и встрѣтилъ въ дверяхъ коротенькаго, рыжеватаго пристава Уздечкина, въ плотно застегнутомъ форменномъ пальто съ мерлушкой, съ шнуромъ отъ револьвера.

— Наконецъ - то, Егоръ Егорычъ! Жду васъ, какъ жида Мессію. Присядьте. Хотите сигару?

— Благодарю покорно, Адольфъ Христіанычъ. Пріемлю!

Приставъ говорилъ пріятнымъ баскомъ. По усамъ онъ смахивалъ на бывшаго военного, но вышелъ изъ мелкихъ чиновниковъ губернскаго правленія.

— Такъ заняты?

— И-и! И Боже мой! Въ этакихъ передрягахъ еще не бывалъ съ тѣхъ поръ, какъ получилъ станъ.

— А исправникъ будетъ?

— Обѣщалъ... Но онъ на экзекуціи... въ Варнавинской волости.

— Съ отрядомъ?

— Да.

— И здоровое внушеніе происходитъ?

Голубые глаза управляющаго сразу блеснули.

— Полагаю.

— Мало этого! Пулеметь! Вотъ единственное универсальное средство!

— Универсальное! Ха - ха! Ловко сказано. Да-съ! Специфическое!

Съ болѣе серьезной миной становой закурилъ и потише спросилъ:

— У васъ, и въ этотъ моментъ, — мнѣ доложилъ урядникъ, — митингъ... тамъ... у складовъ.

Становой произносилъ „митингъ“ съ удареніемъ на второмъ „и“.

— У меня не было возможности сразу разогнать. Стачка началась третьяго дня передъ обѣдомъ. Вчера они присылали своихъ депутатовъ, — подчеркнулъ онъ слово, скосивъ свой властный ротъ, — и я имъ далъ такой отвѣтъ, что безъ депеши отъ владѣльцевъ ничего не могу.

— Правильно!

— Вчера все было тихо, но только снаружи. А по сторонамъ шли сходки, сначала кучками, а потомъ и скопомъ.

— Само собою! — поддакивалъ становой, опаживая на себя дымъ рижской сигары.

— Тутъ уже съ недѣлю мутить... господинъ ораторъ.

— Ха - ха! Это у нихъ новый титулъ: „господинъ ораторъ!“ Какой шикъ!

— Изъ-подъ Москвы. Ткачъ... по фамиліи Климовъ.

— Докладывалъ и мнѣ урядникъ.

— Его пристанодержательствуетъ... студентъ... того старика... Ивана Павлыча Чернова внукъ.

— Къ нему имѣю бумажку.

— Какую?

— Обязать его о немедленномъ выѣздѣ изъ предѣловъ губерніи. Вотъ я два раза собирался въ ихъ усадьбу.

— И не понимаю, — продолжалъ съ презрительной гримасой управляющій, — какъ это такъ... можно сказать патріархъ, прекрасной фамиліи... писатель...

— Стихи печатаетъ! Самъ читалъ! Но въ направленіи довольно двойственномъ — я вамъ скажу.

— Онъ и теперь тамъ навѣрно. Но взять его не удалось. Около него въ родѣ какъ дру-

жина изъ нашихъ и проскуровскихъ. У кого ножи, а у кого и другое что!

— Стражники всѣ въ сборѣ, Адольфъ Христіанычъ... Но на митингѣ больше пяти-сотъ человѣкъ?

— Больше.

— Что же мы сдѣлаемъ? Сами разсудите. Перехватать зачинщиковъ по одиночкѣ не удастся.

— Команда нужна! — крикнулъ управляющій и весь побагровѣлъ. — Отрядъ карательный... А намъ отказъ. На вѣрное раззореніе толкаютъ. А чѣмъ это пахнетъ, ежели со-сѣднее мужичье подыметъ — грабить сахаръ, разносить все и жечь?

— Сотнями тысячъ!

— Что? Тысячъ... Милліоны! Вотъ что-сь!

Управляющій подсѣлъ къ столу, быстро вытянулъ ящикъ и досталъ оттуда депешу.

— Рѣшеніе владѣльцевъ — никакихъ уступокъ ни по числу часовъ работы, ни по дѣлу мастера, котораго я не могъ терпѣть на службѣ.

— А онъ все еще здѣсь?

— На заводѣ его нѣтъ, но гдѣ-то по близости скрывается.

— Найдемъ!

— Какъ быть? Итти къ нимъ сейчасъ... и объявить?

— Рискованно. Пошлите кого-нибудь изъ служащихъ. Пусть пришлютъ своихъ ходо-

ковъ... но не больше, какъ человѣка три-четыре. Мы ихъ сюда и обратно препроводимъ подь конвоемъ... Угодно, я распоряжусь?

— Ничего изъ этого не будетъ. А впрочемъ... дѣйствуйте! Я умываю руки!

Минуть черезъ двадцать къ конторѣ приблизилась кучка рабочихъ человѣкъ до десяти; ихъ конвоировали два урядника и нѣсколько стражниковъ.

Сначала ихъ всѣхъ не хотѣли пустить въ контору; но они иначе не соглашались войти, какъ всѣмъ разомъ. Становой уступилъ. Онъ съ ними переговаривался съ крыльца.

Въ кучкѣ былъ и Климовъ. Становой въ глаза его не зналъ. Одинъ изъ урядниковъ что-то шепнулъ становому.

— Вы! Любезный! — окликнулъ становой Климова. — Вы по какому праву пробираетесь?

Всѣ заволновались.

— Онъ нашъ депутатъ. Извольте пропустить! — раздались голоса.

— Врете. Онъ ткачъ и агитаторъ.

Два стражника хотѣли было схватить Климова, но остальные рабочіе плотно прикрыли его собою.

— Не смѣете! Нейдемъ, если такъ!

Изъ-за угла казармы показалась большая толпа народу.

Становой сообразилъ, что дѣло „рисковое“. Климовъ прошелъ вмѣстѣ съ другими. Они

ввалились всѣ кучей въ обширныя сѣни. Управляющій показался въ дверяхъ. Сѣни плохо отоплялись. Кто снялъ шапки и картузы, а кто и не снялъ, въ томъ числѣ и Климовъ. Онъ стоялъ впереди.

— Вотъ онъ самый, господинъ ораторъ, — громко указаль на него становой, подойдя къ управляющему.

— Ты что за птица? — спросилъ его управляющій. — Я тебя не знаю.

— Позвольте, — остановилъ его Климовъ, — никто вамъ не позволялъ говорить мнѣ ты.

— Не смѣете! Не смѣете! — крикнули всѣ въ одинъ голосъ.

— Значить, это бунтъ? — спросилъ управляющій, разставивъ широко ноги. — А шапки не ломать... Это по-каковски?

— Здѣсь холодно, и мы изъ-за васъ не желаемъ мерзнуть, — отвѣтилъ рабочій, стоявшій рядомъ съ Климовымъ.

— Вашего господина оратора я знать не знаю. Онъ агитаторъ, и вотъ Егоръ Егорычъ сейчасъ же съ нимъ распорядится.

— Мы ему поручили говорить... отъ всѣхъ насъ! — замѣтно волнуясь, сказалъ тотъ же рабочій.

— А я не стану! Слышите? И разговоръ мой съ вами будетъ короткій. Вотъ депеша отъ владѣльцевъ, — онъ развернулъ листокъ. — Отвѣтъ такой и рѣшительный: до новаго года никакой перемѣны въ работѣ.

— Никакой? — крикнулъ кто-то изъ кучки.

— Никакой! А мастера, уволеннаго за дѣло, администрація завода принимать не намѣрена.

— И все? — спросилъ Климовъ, пододвигаясь къ управляющему.

Тотъ отступилъ и съ жестомъ правой руки крикнулъ:

— Съ тобой я разговаривать не намѣренъ. А вы прочіе — слышали?

— Слышали, — отвѣтилъ за всѣхъ Климовъ, сдѣлавши опять шагъ впередъ къ управляющему. — Товарищи! Господинъ Кесслеръ — видимое дѣло — хочетъ довести васъ до зеленаго змія и до бѣлаго каленія. Это провокаторство въ полной формѣ. Вы знаете, что вамъ дѣлать. Не срамите себя, не отвѣчайте этому наемнику господъ капиталистовъ! Пускай вся вина будетъ на ихъ сторонѣ!

— Молчать!

Становой тутъ только точно сорвался съ мѣста, подбѣжалъ къ Климову и хотѣлъ схватить его за шиворотъ его полушубка.

Но его мгновенно оттолкнули другіе рабочіе и, подхвативъ Климова, стремительно выбѣжали на крыльцо. Тамъ стояли урядникъ и стражники; а изъ-за казармы надвигалась уже вся громада сходки, чернѣя на фонѣ грязножелтыхъ стѣнъ казармы.

XIV.

— Такъ вотъ-съ, добрѣйшій Иванъ Павлычъ, я оставляю эту бумагу у васъ... и долженъ настоятельнѣйше просить вашего внука расписаться.

Становой протянулъ бумагу дѣду, стоя надъ его кресломъ въ полусогнутой позѣ.

— А если онъ откажется дать свою подпись?

Марья Ивановна сидѣла на своемъ обычномъ мѣстѣ — на кушеткѣ, около двери въ коридоръ.

— Мэри... что ты скажешь?—спросилъ старецъ.

— Я не знаю, папа. Ручаться нельзя за Митю.

— Въ такомъ случаѣ, Марья Ивановна, я принужденъ буду довести до свѣдѣнія моего начальства. И вашему сынку можетъ выйти еще большая неприятность.

— Ссылка?—остановилъ Иванъ Павловичъ.

— По теперешнему времени—обязательно!—вкусно выговорилъ становой и отошелъ къ столу, гдѣ взялъ свой портфель.

И отецъ, и дочь молчали.

— И вотъ еще что, добрѣйшій Иванъ Павлычъ,—заговорилъ становой, понизивъ голосъ.— У васъ... или у вашихъ внуковъ... проживаетъ одинъ рабочій... ткачъ, изъ-подъ Москвы. Прописанъ онъ не былъ... урядникъ два раза мнѣ доносилъ. Но я не хотѣлъ васъ беспокоить. А, между тѣмъ, этотъ самый ткачъ... Климовъ по прозвищу... является агитаторомъ и самымъ закоренѣлымъ. И вотъ сегодня на заводѣ явился при мнѣ къ управляющему, какъ депутатъ отъ митинга. И когда я хотѣлъ арестовать его, рабочіе не дали, и вышелъ большой карамболяжъ. Стражниковъ помяли... а Климовъ скрылся. Преду-преждаю васъ, что ежели... ваши внуки будутъ его прятать, я долженъ буду явиться съ командой.

— Мэри... какъ же это?—упавшимъ голо-сомъ спросилъ старецъ.

— Его нѣтъ...—чуть слышно выговорила Марья Ивановна.

И точно устыдившись своего малодушія, подняла голову и добавила:

— Сынъ мой—самостоятельная личность. Мы приказывать ему не можемъ.

— Но какъ же мнѣ-то быть, сударыня?—болѣе официально спросилъ становой.— Я

обязательно долженъ его арестовать. Щадя вашего родителя и васъ... я счелъ долгомъ предупредить... Вы — мать. Неужели вы не можете, хотя бы для спокойствія вотъ родителя вашего — настоять на этомъ?

— Не могу.

— Въ такомъ случаѣ... ежели онъ будетъ здѣсь скрываться, мы его арестуемъ...

Подойдя опять къ креслу старика, становой, съ портфелемъ подъ мышкой, наклонился къ нему.

— Ежели вы смущаетесь насчетъ погрома, я могъ бы отрядить нѣсколько стражниковъ. Но вотъ бѣда-то... кругомъ дня не проходитъ безъ нашествія вандаловъ на помѣщичьи имѣнія. Слава Богу, что прислали, наконецъ, карательный отрядъ. Онъ третьяго дня... лихо дѣйствовалъ въ Ерохинской волости. Все село отрапортовали на славу.

— Какъ же это? — остановилъ Иванъ Павловичъ и весь выпрямился.

— Извѣстное дѣло... какъ. Прислано было полроты. Ее не хватило бы... приспѣли на подмогу казаки.

— Экзекуція?

— Обязательно. Всѣ разбѣжались. Ловить ихъ пришлось. И закоренѣлость какая! Знать не знаю, вѣдать не вѣдаю! Однако, когда отсыплютъ ему порцію — все выложить.

— Что онъ говорить... Мэри?! Что онъ говорить!

Старецъ поднялъ голову, и правая рука его точно хотѣла оттолкнуть отъ себя станового.

— А то какъ же иначе, добрѣйшій Иванъ Павлычъ? Разсудите сами!

— Довольно! Довольно-съ, господинъ Уздечкинъ. Избавьте меня отъ выслушиванія этихъ подробностей.

— А ежели вотъ завтрашній день къ вамъ пожалуетъ цѣлое село и не оставитъ здѣсь камня на камнѣ, и выжжетъ все... и вы очутитесь среди чистаго поля? Что же тогда прикажете дѣлать? Награды имъ выдавать? Похвальные листы мальчишкамъ и почетные сарафаны бабамъ и дѣвкамъ, вмѣсто того, чтобы, задравъ подолы, расписывать имъ кое-какія части тѣла! Ха-ха!

— Избавьте меня! Не смѣйте такъ говорить! Что бы ни вышло въ этой усадьбѣ, я не могу позволить, чтобы у меня въ кабинетѣ раздавались подобныя вещи!

Онъ весь затрясся. Дочь подбѣжала къ нему.

— Прошу васъ... пощадить моего отца, господинъ Уздечкинъ.

— Простите великодушно. Я не имѣлъ намѣренія ихъ разстроить. Но, право же, смѣху подобно, что и въ дворянскомъ сословіи... находятся такіе защитники... отъявленныхъ грабителей и злодѣевъ... орды, которая всѣхъ—и васъ, и насъ—сведетъ на смарку! Имѣю честь кланяться!

Лицо станowego стало красно. Онъ началъ застегивать свою тужурку, стоя посрединѣ комнаты въ нерѣшительной позѣ.

Въ дверяхъ показался студентъ. Первый увидалъ его становой.

— А! Весьма кстати! Это вашъ сынокъ?— спросилъ онъ конфиденціально у Марьи Ивановны.

— Да, мой сынъ, Дмитрій.

— Имѣю честь представиться: становой этого стана. Вотъ сейчасъ я предъявилъ вашему дѣдушкѣ бумагу... вотъ она на столѣ.

— Что же вамъ отъ меня угодно?—довольно сдержанно выговорилъ студентъ.

— Прошу это благоволить подписать. Не угодно ли прочесть ее.

Студентъ взялъ бумагу со стола и медленно прочелъ ее.

— Я не подпишу.

Становой пожалъ плечами.

— Мама, дѣдушка... Вы желали сами, чтобы я какъ можно скорѣе уѣхалъ отсюда?

— Да, мой другъ, — отвѣтилъ Иванъ Павловичъ.—И мать твою ты успокоилъ бы.

— Я это сдѣлаю. Но никакой подписки давать не могу.

— Въ такомъ случаѣ — вы подвергнетесь насильственному удаленію.

— Это мое дѣло, господинъ приставъ. И я попросилъ бы васъ дѣда моего не беспокоить больше.

— Напрасно изволите дѣлать мнѣ выговоръ, молодой человѣкъ! Вы бы лучше сами не подвергали вашего дѣдушки и матушки своей волненіямъ... не только изъ-за своей личности но и тѣмъ, что тайно держите у себя... революціоннаго агента изъ московскихъ дружинниковъ — ткача Климова! Я уже имѣлъ честь сообщить Ивану Павлычу, что если этотъ Климовъ вернется сюда въ усадьбу... мы его арестуемъ.

— Это ваше дѣло, господинъ становой! Избавьте меня отъ вашихъ нравоученій. Вамъ вѣдь надо спѣшить на экзекуцію въ село Оедосѣево. Дѣдушка! тамъ съ утра карательный отрядъ...

Онъ почти истерически захохоталъ.

— Они жгутъ, а ихъ не смѣй трогать! Чудесная философія... Имѣю честь кланяться.

Становой повернулся звонко на каблукахъ и быстро вышелъ, повертывая портфель подъ мышкой правой рукой.

— Папа... не дать ли тебѣ спирту? или капель?— тихо говорила Марья Ивановна, наклоняясь надъ головой отца.

— Мерзость какая!— почти съ плачемъ выговорилъ онъ.— Господи! Господи! До чего дожили! Та власть, которая сорокъ пять лѣтъ назадъ вырвала у насъ — дворянъ — рабовладѣльческое право — эта самая власть вотъ до чего довела крестьянскую массу! И какъ она усмиряетъ крамолу? Боже мой! Ка-

кой срамъ! Какое душу подавляющее владычество нагайки, розогъ, застѣнка, пулемета! Это ужаснѣе шпицрутеновъ нашего николаевского времени... Тогда гоняли сквозь строй... все же по приговору суда. А тутъ... что же это такое?

Онъ закрылъ лицо ладонями. Студентъ подошелъ къ нему тихо и сталъ сбоку кресла.

— Спасибо... дѣдушка, — взволнованно заговорилъ онъ. Ты видишь самъ... да и мама это знаетъ — что нѣтъ мочи выносить это. Мама! — обратился онъ къ ней, черезъ голову дѣда. — Ты вѣдь съ нами? Зачѣмъ двойственность? Прости... если мы съ сестрой тебя тревожимъ. Но здѣсь ли, въ Москвѣ ли — намъ не уйти отъ своей судьбы! Ты это знаешь! И ты дѣдушка — также! Мы ѣдемъ сегодня же вечеромъ. И Климова больше здѣсь не будетъ.

— Куда же вы? — беззвучно выговорилъ старецъ.

— Не спрашивай! Лгать не хочу, а всего рассказывать не могу. Мама! Ты вѣдь знаешь, что это такъ?

Рѣчь его оборвалась. Дѣдъ и мать молчали.

XV.

Усадьба все еще стоит невредима. Направо, налево идутъ погромы... и вслѣдъ за ними экзекуціи.

Ивану Павловичу, послѣ отъѣзда внуковъ, сдѣлалось еще мертвѣе въ пустомъ и холодномъ домѣ, особенно по вечерамъ. Глаза видятъ плохо. Онъ почти отказывается читать съ лампой или со свѣчами.

Дочь его еле ходитъ, перемогаеть себя. Она въ постоянной тревогѣ. Дѣти уѣхали... больше „скрылись“, чѣмъ уѣхали, даже хорошенько не простившись. Вещи свои они перевезли куда-то, куда — никто не знаетъ. Мать узнала только, что они свой багажъ послали куда-то. Можетъ быть они еще здѣсь... На заводѣ, гдѣ не удалось арестовать ихъ „товарища“ Климова — готовится буря. Слышно уже, что назначенъ день пожара и грандіознаго разноса всѣхъ складовъ.

Онъ не допрашиваетъ дочь насчетъ того, что творится на станціи. Но она сама про-

говорила, что стачка подходит къ концу. Не сегодня—завтра нагрянетъ карательный отрядъ. Она трепещетъ за своего „друга“, а тотъ, какъ безумный, собираетъ сходки, говорить, говорить и все еще надѣется, что „пробьетъ часъ народной воли“.

Вотъ и сегодня Иванъ Павловичъ сидитъ въ своемъ креслѣ и прислушивается къ гудѣнью печи.

Ее топятъ пополамъ съ соломой—„лузгой“, трухой отъ гречихи. Топить старый Пахомъ, бывший когда-то столяромъ, а еще при крѣпостномъ правѣ у сосѣда состоялъ въ сказочникахъ и носилъ прозвище „выжлеца“, т.-е. гончарки, потому что умѣлъ лаять по-собачьи.

Пахомъ еще бродитъ и состоитъ сторожемъ. Глаза его вѣчно слезятся, черепъ совсѣмъ голый, борода какъ лунь. Ходитъ онъ сторбившись, въ древнемъ засаленномъ полушубкѣ и бѣлыхъ, тоже засаленныхъ валенкахъ, совершенно беззвучно, точно тѣнь, говоритъ высокимъ фальцетомъ, которымъ онъ когда-то, сидя въ углу спальни своего барина, заводилъ вполголоса рассказъ о „Василии-Царевичѣ“ и о томъ, какъ мачиха и ея любовникъ „енараль“ хотѣли извести царевича, и какъ имъ это не удавалось.

Все, что теперь творится въ деревнѣ, держитъ Пахома въ душевномъ угнетеніи. Онъ даже ничего не говоритъ, а только вздыха-

еть и что-то бормочетъ... Иванъ Павловичъ, для его успокоенія, нѣсколько разъ говорилъ ему:

— Слушай, Пахомъ! Пока насъ не разгромили и не сожгли — никто тебя отсюда не выгонитъ. Слышишь?

— Слушаю, батюшка! — неизмѣнно отвѣчаетъ Пахомъ и крестится.

Съ бариномъ они почти что однихъ лѣтъ.

Онъ два раза уже приносилъ лузги и соломы. Топить приходится по два раза въ день. Уже смеркалось, когда онъ во второй разъ началъ топить, стоялъ на колѣняхъ и засовывалъ солому, пополамъ съ лузгой.

Иванъ Павловичъ забылся и не слышалъ ничего. Въ его рукахъ была книжка, и онъ что-то писалъ въ ней карандашемъ. Обыкновенно, въ сумеркахъ, ему приходили мысли и образы, и онъ торопился заносить ихъ тотчасъ же въ тетрадь.

И тутъ что-то хорошее, сильное и печальное озарило его.

Онъ поднялъ голову, точно разбуженный.

Слухъ у него сохранился. А Пахомъ былъ на одно ухо совсѣмъ глухъ, да и вторымъ слышалъ плохо.

— Пахомъ! — окликнулъ Иванъ Павловичъ какъ могъ громче.

— Чего изволите, батюшка?

— Посмотри... тамъ кто-то въ прихожей.

— Сейчасъ, батюшка.

Пахомъ поплелся въ переднюю и тотчасъ же вернулся, близко подошелъ къ креслу барина и совсѣмъ тихо сказалъ:

— Урядникъ тамъ... офицера какого-то привелъ. Просится къ вамъ войти.

— Какого офицера?

— Въ амуниціи... съ пистолетомъ и при саблѣ. И шапка на бокъ надѣта.

— Что же ему нужно?

— Къ вамъ... значитъ... просится.

Первая мысль Ивана Павловича была: ищутъ его внука или его товарища Климова. Но ихъ нѣтъ, и онъ не знаетъ, гдѣ они. А за себя чего же смущаться?

— Попроси ихъ.

— Сію минуту, батюшка.

Пахомъ поплелся опять, беззвучно переступая своими валенками. Иванъ Павловичъ отложилъ книжку на столикъ. Его поэтическое видѣніе разлетѣлось. Урядникъ... офицеръ въ „амуниціи“... Навѣрно изъ какого-нибудь карательнаго отряда.

Можетъ повториться то же, что вышло здѣсь со становымъ Уздечкинымъ.

Первымъ вошелъ урядникъ и у дверей от-рапортовалъ:

— Господинъ исправникъ просятъ... господину поручику, командующему полуротой... за неимѣніемъ тамъ... въ Федяковѣ, приличнаго помѣщенія — позволить отдохнуть.

Изъ-за урядника выдвинулся и офицеръ.

Онъ, держа шапку въ рукѣ, остановился по-
среди́нѣ комнаты и щелкнулъ каблуками.

— Прошу извиненія... Такое время! Только
до завтрашняго дня... Не желалъ бы васъ
безпокоить...

Говорилъ онъ полусконфуженно, очень
молодымъ тономъ. Рослый, худой, съ рѣдкой
бородкой — онъ лицомъ совсѣмъ не похожъ
былъ на служаку, а скорѣе на вольноопре-
дѣляющагося изъ студентовъ.

— Чѣмъ могу! — проговорилъ Иванъ Пав-
ловичъ. — Комната найдется.

— Премного благодаренъ!

Офицеръ отпустилъ урядника и что-то ему
сказалъ на ухо, въ дверяхъ.

Выгнать его старецъ не могъ; но ему тот-
часъ же сдѣлалось не по себѣ отъ этого „по-
стоя“.

— Присядьте, — сказалъ онъ, указывая мѣ-
сто офицеру. — Дочь моя не совсѣмъ здоро-
ва... Но если вы голодны... вамъ приготовятъ
что-нибудь.

— Откровенно говоря, — проголодался чер-
товски... и прозябъ порядочно.

Онъ снялъ перчатки и сталъ усиленно по-
тирать руки.

— Угодно, я прикажу подать закуски?..

— И водочки... позвольте!

— Извините... въ домѣ врядъ ли найдется
водка. Вино есть. Черезъ полчаса мнѣ пода-
дутъ сюда... Если не побрезгуете...

Иванъ Павловичъ вдругъ поглядѣлъ на офицера какъ-то особенно и спросилъ измѣнившимся голосомъ:

— Такъ вы... съ отрядомъ?

— Полроты подъ моей командой.

— И она тамъ... на селѣ?

— Такъ точно.

— Значить, экзекуція уже кончилась?

— Не знаю,—что завтра будетъ...

Поручикъ не договорилъ и опустилъ голову, точно избѣгая смотрѣть на старца.

— И вы, господинъ офицеръ, присутствовали при экзекуціи?

— По долгу службы.

Офицеръ нервно задвигался на стулѣ, вынулъ папиросницу, коробку спичекъ и закурилъ.

— По долгу службы,—повторилъ Иванъ Павловичъ.—Печально, молодой человѣкъ...

— Но вѣдь это... разбой?! Вотъ сюда придутъ... къ вамъ... цѣлой волостью. И разнесутъ, увезутъ хлѣбъ, вспорятъ животы у лошадей, въ дребезги все изломаютъ.—Онъ провель рукой въ воздухъ.—И по головкѣ ихъ гладить? Мы обязаны итти васъ охранять. Вы думаете—это сладко? Вотъ такъ... шагать по деревнямъ? Люди обезсилены... голодны... сами, съ позволенія сказать, какъ черти иззябли или измокли...

Онъ присѣлъ на край кушетки, затянулся,

бросилъ окурокъ и опять нервно заходилъ по комнатѣ.

— Собачья жизнь! Вотъ что я вамъ скажу. И на войнѣ тоже. Такъ тамъ, по крайней мѣрѣ, хоть врагъ передъ тобой. Стрѣляй, коли, топи, жги! И тебѣ пощады не будетъ. Пакостное время, я вамъ скажу... Анаоемское! — кончилъ онъ и махнулъ рукой.

И, помолчавъ, сказалъ:

— Извините... Позвольте мнѣ удалиться. Прикажите дать чего-нибудь закусить... и койку простую. У меня у самого гадко на душѣ!

Не договоривъ, онъ круто повернулся и почти выбѣжалъ изъ комнаты.

XVI.

— Что теперь будетъ, господинъ набольшій?— спрашивалъ Курбачева старшій машинистъ Ковальчукъ, покуривая свою трубочку.

Они стояли подъ навѣсомъ товарной станціи. Поархивалъ снѣжокъ. Небо было хмурое. Кругомъ точно все замерло.

— Что будетъ, Назаръ Саввичъ?— задумчиво отвѣтилъ Курбачевъ и оглянулся вбокъ, туда, къ югу, по полотну дороги.

— Да... Ежели вмѣсто этихъ самыхъ дружинниковъ пожалуетъ... карательная команда?

— Вѣдь вы же знаете, Назаръ Саввичъ, что сюда долженъ быть поѣздъ съ нашими.

— Знаю... А потомъ что?

— Будемъ держаться до послѣдней возможности.

— Позвольте...

Ковальчукъ взялъ Курбачева за борть пальто и потянулъ его въ глубину навѣса.

— Покалякаемъ по душамъ, что ли... Про себя я говорить не буду. Я—закоренѣлый

холостякъ. Кому обо мнѣ убиваться, коли шальная пуля изъ винтовки или браунинга свалитъ меня?.. Тошно толкаться по свѣту. И все равно, мы не уйдемъ по добру, по здорову.

— Куда уходить? Что вы? Надо быть на своемъ посту.

Глаза Курбачева восторженно блеснули.

— Неужели никого не будетъ жаль?—спросилъ машинистъ и подмигнулъ.—Вы уже, въ нѣкоторомъ родѣ, обвязанный человекъ.

Курбачевъ поглядѣлъ на него.

— Вы не сердчайте, Семень Лукичъ! Я не зря болтаю. Намъ съ вами, быть можетъ, и жить-то остается сутки, много двое... такъ изъ-за чего же намъ не говорить правду?

— Спасибо, Назаръ Саввичъ, за ваше душевное отношеніе ко мнѣ... Да, у меня есть въ жизни... дорогое для меня существо, которое я такъ почитаю, какъ не чтить родной матери. Но эта женщина осчастливила меня своей взаимностью, потому что я вотъ такой... какимъ вы меня знаете. И она—съ нами... всей душой. Какъ же я могу вдругъ измѣнить дѣлу, на которое уповалъ всю мою жизнь? Бѣжать, что ли, или повиниться... передъ начальствомъ?

— Виниться,—зачѣмъ? А утекать все равно надо.

— И вы собираетесь?—строго спросилъ Курбачевъ, воззрившись на машиниста.

— Ха-ха! Нѣтъ. Очень мнѣ любопытно до конца остаться. И не о себѣ я завелъ рѣчь. И сердать на меня нечего. Только, будь я на вашемъ мѣстѣ, я бы такъ на рожонъ не лѣзъ бы, честной человѣкъ!

Онъ обернулся всѣмъ своимъ грузнымъ туловищемъ въ ту же сторону, куда смотрѣлъ и начальникъ станціи.

— Давали депешу?—спросилъ онъ, прищурившись.

Рано утромъ. Могутъ и не дать сигнала. Путь свободенъ — это имъ извѣстно.

Они оба спустились изъ-подъ навѣса. На платформѣ они наткнулись на блондинчика въ тужуркѣ, безъ пальто.

— Искать васъ, Семень Лукичъ! — запыхаясь, говорилъ онъ.

— Что такое?

— Сейчасъ дали знать.

— Оттуда? — съ особымъ выраженіемъ спросилъ Курбачевъ.

— Оттуда-съ.

— Значить, черезъ полчаса будутъ?

— Обязательно-съ.

— Что жъ... Желанные гости! Только вотъ, чѣмъ кормить-то мы будемъ ихъ... Развѣ съ собой что захватятъ?

Всѣ трое размѣялись. Машинистъ куда-то ушелъ, блондинчикъ побѣжалъ опять къ станціи. Семень Лукичъ остался одинъ и сталъ короткими шагами прохаживаться по плат-

формѣ, то опуская голову, то оглядываясь кругомъ. И усмѣшка не сходила съ его губъ. Ему пріятно было подставлять лицо подъ снѣжинки, которыя крутилъ все крѣпчавшій вѣтерокъ.

Слова Ковальчука все еще стояли у него въ ушахъ. Можно ли ждать чего-нибудь лучшаго — разъ не выгорѣла всеобщая забастовка? Ихъ всѣхъ сокрушить все та же ненавистная имъ всѣмъ сила.

„И пускай!“ — повторялъ онъ мысленно, продолжая ходить по платформѣ, заново побѣлѣвшей отъ снѣгаго снѣга.

„И пускай!“ — Сегодня ихъ сотни, десятки тысячъ, а черезъ годъ — сотни тысячъ, миллионы. Сами по себѣ они — ничто, безвѣстныя, безымянныя единицы. Но изъ ихъ мертвыхъ тѣлъ воздвигнется курганъ... какого еще не бывало нигдѣ, ни въ Европѣ, ни въ Новомъ Свѣтѣ“.

Онъ, не со вчерашняго дня, вѣрить глубоко и пламенно, что его отечеству суждено изгнать вѣковую неправду, создать невидимое государство, гдѣ и всѣ „труждающіеся и обремененные“ увидятъ царство Божіе на землѣ — не то, не мистическое, а реальное, торжествующее и всесильное.

Развѣ не прошло уже получаса? А никого нѣтъ. Онъ посмотрѣлъ на часы и быстро двинулся на станцію — узнать у телеграфиста не было ли еще извѣстій.

Совсѣмъ стемнѣло. Снѣгъ пересталъ итти. Небо темное и почти безоблачное. Звѣзды и тутъ и тамъ ярко загораются.

Курбачевъ стоитъ на эстрадѣ и смотритъ, какъ рабочіе и дружинники возятся вокругъ двухъ вагоновъ.

Рѣшено было встрѣтить команду „по-своему“, а для этого загородить путь двумя вагонами, положивъ ихъ поперекъ. Это покроетъ всю ширину полотна.

На него нашелъ другой стихъ. Та восторженная лихорадка, что была его нѣсколько дней — улеглась, вотъ теперь, съ прибытіемъ этого отряда дружинниковъ, когда началось „дѣло“.

Онъ не хочетъ спрашивать, какъ его пріятель, машинистъ Ковальчукъ, — чѣмъ все это кончится? Чѣмъ бы ни кончилось — отъ судьбы своей не уйдешь. Надо бы послать въ усадьбу съ запиской Марьѣ Ивановнѣ о прибытіи дружинниковъ, но онъ не захотѣлъ. Зачѣмъ ее тревожить?

Еще вчера онъ простился съ ней „на всякій случай“. Такъ и сказалъ:

— Ни за одну минуту нельзя ручаться.

Она поблѣднѣла; но не заплакала. Судьба дѣтей тревожить ее не менѣе сильно, пожалуй и посильнѣе. На то она — мать.

И распоряжаться онъ не суется. Тутъ есть два молодца — изъ интеллигенціи, должно

быть изъ техниковъ. Они сейчасъ же раскинули мозгами и составили цѣлый планъ.

Сообщеніе къ сѣверу прервано по телеграфу. Быть можетъ, станція находится уже въ рукахъ команды... Ночь придется продежурить напролетъ.

Съ своего наблюдательнаго поста онъ видитъ, какъ копошатся темныя и сѣрыя фигуры. Вотъ повалили товарный вагонъ. Потомъ принялись за другой — товарный. Буро-красный цвѣтъ товарнаго вагона можно различить и въ темнотѣ.

Справа и слѣва примостили еще что-то. Баррикада выходитъ большая. Онъ узнаетъ плотную фигуру въ курткѣ и картузѣ съ галуномъ — Назара Саввича. И трубочка торчитъ у него въ зубахъ. Доносится и его хриповатый басокъ.

И вдругъ на полотнѣ... саженьяхъ въ двухстахъ, а можетъ и больше — что-то блеснуло.

У баррикады всѣ насторожились. Нѣсколько человѣкъ забѣжали за опрокинутые вагоны и что-то оттуда столкнули.

— Поѣздъ... съ командой! — кто-то доложилъ ему.

— Что жъ! Милости просимъ.

И пошелъ медленно вдоль платформы, и дальше.

Гуль голосовъ сразу стихъ.

— Идетъ! Идетъ! — крикнулъ кто-то въ темнотѣ.

Онъ воззрися вдоль полотна. Фонарей нѣтъ; но изъ трубы сыплются искры.

Потомъ дали задній ходъ.

— А! На попятный! — крикнулъ все тотъ же молодой голосъ.

И раздался дружный смѣхъ.

Рука его нащупала у пояса револьверъ. Винтовки у него нѣтъ; да и какой же онъ стрѣлокъ?

За вагонами залегли всѣ, выжидая минуту, когда надо будетъ встрѣтить залпомъ „дорогихъ гостей“.

Паровозъ стоитъ недвижно. Но какъ будто что-то движется по полотну и вдоль канавокъ.

— Крадутся? — спрашиваетъ онъ, ближе подходя къ засадѣ.

— Кто ихъ знаетъ!

Онъ узналъ голосъ машиниста.

— Назаръ Савивчъ? Это вы?

— Эге... — отвѣчаетъ тотъ молодеческимъ звукомъ. — Вотъ полѣзу.

Ковальчукъ началъ карабкаться на бокъ одного изъ вагоновъ. Раздался выстрѣлъ, потомъ другой, третій... Масса рухнула внизъ.

— Назаръ Саввичъ! — крикнулъ Курбачевъ.

Внизу, на полотнѣ дороги, лежалъ машинистъ, безъ фуражки, раскинувъ руки. Курбачевъ нагнулся надъ нимъ и смогъ только выговорить:

— Царство небесное!

XVII.

— Ипполитъ! Голубчикъ! Поскорѣе!

Марья Ивановна говоритъ это умоляющимъ голосомъ, сидя въ пошевняхъ.

— Снѣжку-то маловато, сударыня! Я и такъ стараюсь.

— Ради Бога!

Подъ ея деревенскій капоръ врывался рѣзкій вѣтерокъ. Внутри она вся то горѣла, то замирала.

Что тамъ на станціи? Оттуда не было посланца. Семень Лукичъ не хотѣлъ ее беспокоить. Кто-то, въ людской, пришелъ съ вѣстью, что тамъ уже солдаты.

Это ее совсѣмъ подкосило. Она наскоро одѣлась. Отецъ еще спалъ.

И вотъ она спѣшитъ туда, понукая своего возницу, а на сердцѣ у нея щемитъ отъ предчувствія.

Не лучше ли вернуться? Быть можетъ, ничего еще нѣтъ... Но въ ихъ послѣднее сви-

даніе Семень Лукичъ точно совсѣмъ прощался съ нею. Онъ — будто въ гипнозѣ. О себѣ, о своей судьбѣ говорилъ, какъ приговоренный къ смерти.

Минутами у нея такое чувство, что тамъ, на станціи — очутятся ея дѣти. Климовъ, навѣрно, тамъ. Онъ увлечетъ ихъ обоихъ.

Какъ жестоко, съ ихъ стороны, такъ поступать съ родной матерью! Правда, ихъ гнали отсюда: и полиція, да и она съ дѣдомъ. Но они скрылись, не простившись, на разсвѣтѣ.

И вдругъ при ней ихъ схватятъ и прикончатъ?

Сердце екнуло, и потомъ сейчасъ же вся кровь залила ея щеки.

„Будь что будетъ!“ — шепчетъ она, безпомощно озираясь по сторонамъ

Она подняла голову и поглядѣла на небо — бѣлесоватое, низкое, полухмурое, откуда падалъ снѣжокъ.

Вотъ показалось на подъемѣ строеніе станціи.

— Сударыня... — откликнулъ ее малый. — Никакъ тамъ... команда... Отсюда видать. Вонъ сѣрыя шинели... И штука какая-то... не то пушка, не то другое что — у самага подъѣзда. Боязно мнѣ подвозить васъ... Какъ прикажете?

— Коли ты самъ боишься, Ипполитъ, остановись вонъ тамъ, у мостика. Я дойду одна.

— А приколютъ?

— Я не боюсь.

Она почти стремительно соскочила съ са-ней и побѣжала къ станціи.

Да, видны солдаты у задняго крыльца. Но всего... двое часовыхъ. На запасномъ пути нѣсколько вагоновъ. Больше — ничего: ни служащихъ, ни сторонняго народа, ни одной крестьянской подводы.

Надо зайти на другую сторону. Часовой не пустить ее съ задняго крыльца.

Если Семень Лукичъ еще живъ, то онъ сидитъ подъ арестомъ. А можетъ быть, къ нему пустятъ? И она сейчасъ же увидитъ, тутъ ли дѣти.

Дыханіе у нея сперлось. Она перелѣзла черезъ колючій плетень и попала на полотно; хотѣла итти дальше — остановилась и вся замерла.

У передняго подѣзда — цѣпь изъ солдатъ. Изъ-за ихъ спинъ она можетъ разглядѣть цѣлую кучу людей, припертыхъ къ стѣнѣ. Что-то ей подсказало: „это — дружинники!“ Ихъ человѣкъ десять, можетъ и больше. У нѣкоторыхъ руки прикручены за спину, у другихъ — нѣтъ. Они всѣ — безоружны.

Стало быть, здѣсь ночью или сегодня на разсвѣтѣ былъ бой?

Голова ея все такъ ясно и быстро обра-жаетъ. Страха уже нѣтъ никакого. Такъ, на-вѣрно, чувствуютъ себя на войнѣ.

Кто-то изъ этой кучки шевельнулся. Кто-то что-то крикнулъ.
.

И тотчасъ за этимъ ее всю потрясло, съ маковки до пятокъ, — и гнѣвъ, отвращеніе, близкое къ тошнотѣ, овладѣли ею — до физической боли, до крика!

Она рванулась и опять остолбенѣла.

Мелькнула красная фуражка.

Это онъ! Онъ идетъ рядомъ съ офицеромъ — въ одной тужуркѣ и что-то горячо говорить; его правая рука поднимается въ воздухъ.

Офицеръ, — она видитъ всю его фигуру какъ на ладони, — съ рыжей бородой, коренастый, шапка на затылкѣ, въ рукахъ револьверъ. Онъ остановился и что-то крикнулъ. Кажется, Семень Лукичъ что-то отвѣтилъ и подался назадъ.

Снова — крикъ офицера. Это уже команда. Нѣсколько человекъ солдатъ подбѣжало. Офицеръ сзади и сбоку пихнулъ начальника станціи къ солдатамъ и что-то крикнулъ.

Она закрыла глаза и прислонилась къ столбу. Ноги дрожали, въ глазахъ потемнѣло. Вотъ сейчасъ раздастся раздирающій крикъ.

Раздался ли онъ — она не сознавала. Ей только страшно было упасть въ обморокъ. Она рванулась опять впередъ — и не могла. Ноги подкосились. Еще сильнѣе схватилась она за столбъ и прислонила къ нему голову.

Но она должна видѣть, должна бѣжать туда, умолять.

Глаза она раскрыла. Красной фуражки уже нѣтъ. Что-то бьется, окруженное кольцомъ сѣрыхъ шинелей.

Ее душило все сильнѣе и сильнѣе. Но глаза устремлялись все туда, къ той кучкѣ.

А онъ все еще бьется. Его волокутъ къ водокачалкѣ. Туда идетъ и офицеръ съ рыжей бородой, шапкой на затылкѣ и револьверомъ въ рукѣ.

Солдаты прислоняютъ плѣнника къ водокачалкѣ и разступаются.

Офицеръ подходитъ не спѣша, точно рассчитываетъ шаги. Солдаты становятся въ рядъ, ружья къ ногѣ.

Рука офицера поднимается. Она видитъ это. Воздухъ сталъ яснымъ — снѣгъ больше не идетъ.

„Что же еще?“ — спрашиваетъ она, и въ головѣ ея начинается мутиться. Ей вдругъ показалось, что она сама приговорена, что ее привязали къ столбу, и этотъ самый офицеръ идетъ къ ней маленькими шажками.

Выстрѣлъ раздался. Она закрыла глаза и тотчасъ же, съ усиленіемъ, раздвинула вѣки.

Еще выстрѣлъ.

Тѣло рухнуло на землю.

Она дико крикнула и упала въ обморокъ.

XVIII.

Она шла, шатаясь, на село. И въ душѣ ея былъ адъ.

Когда она очнулась — никого уже не было ни на платформѣ, ни на полотнѣ дороги. Смеркалось. Она совсѣмъ окоченѣла. Куда-то унесли и трупъ Семена Лукича. Можетъ, бросили куда-нибудь въ яму?..

Но туда, на станцію, она не пошла. Страхъ— женскій, бабій страхъ остановилъ? Нѣтъ, не страхъ.

Итти туда — значило просить пощады, умолять отдать ей тѣло...

— А вы кто, сударыня? — спросилъ бы ее офицеръ.

— Я такая-то.

— Родственница казненнаго?

И кто-нибудь изъ здѣшнихъ, помогавшій ловить крамольника, брякнулъ бы:

— Да это полюбовница Курбачева, ваше в — діе.

— Вотъ оно что! — сказалъ бы офицеръ. —
Взять ее!

Хорошо, если бъ ее сейчасъ же разстрѣляли. А то засадили бы въ темную и стали бы вымогать отъ нея какое-нибудь свидѣтельское показаніе...

Все это такъ живо представилось ей, и ужасъ овладѣлъ ею. Она дрожала не отъ одного мороза послѣ обморока, длившагося не одинъ часъ, а отъ того, что можетъ съ ней быть, если она пойдетъ хлопотать о тѣлѣ ея „любовника“, крамольнаго начальника станціи.

Но неужели такъ и оставить! Не сдѣлать ничего, чтобы похоронить его... какъ человѣкъ, а не какъ падаль, какъ „тушу“, выкинутую по негодности, потому что она зачумлена?

Ей что-то вспомнилось.

Вѣдь здѣсь — школа. Учителя она видѣла. Семень Лукпчъ рассказывалъ ей, что учитель, на сходкѣ у машиниста Ковальчука, отказался принять участіе въ „движеніи“.

Но онъ хорошій человѣкъ, вѣрующій толстовецъ. Онъ поможетъ ей. Больше къ кому же обратиться — въ эту минуту?.. А потомъ она поѣдетъ къ земскому начальнику, къ становому, къ исправнику.

Память у ней совсѣмъ отшибло. Она не знаетъ, какъ она попала сюда. Сани съ Ипполитомъ можетъ быть еще стоятъ тамъ, у мостика?

Той же дорогой поплелась она къ заднему крыльцу, перелѣзла черезъ плетень и стала спускаться.

Солдатъ не видно. Все какъ вымерло.

И опять ей пришло на умъ:

Не далекъ и домъ батюшки. Она у него не бывала, но домъ знаетъ. Кажется, онъ прѣзжалъ съ причтомъ къ нимъ въ усадьбу „славить“. Было это года два назадъ. Отцу ея это не понравилось. Кажется, съ тѣхъ поръ не было больше такихъ посѣщеній на Рождество и Пасху.

Наружность батюшки она отчетливо помнить: еще не старый, полный, очень бѣлокурый, съ лѣнивыми, масляными глазами. Слышала она, что онъ — „выпивающій“.

Вотъ и мостикъ. Саней нѣтъ. Куда поѣхалъ трусливый Ипполитъ? Неужели погналъ домой, услыхавъ выстрѣлы? Что же онъ доложилъ тамъ, дома? Какъ напугалъ старика?

Но все это отошло назадъ. Одно наполняло ее: надо спасти тѣло и похоронить его съ честью.

Въ селѣ также мертвенно... Домъ батюшки — на площади, съ боку отъ церкви. Ноги подкашиваются; но ее точно толкаетъ что впередъ.

Въ „поповскомъ“ домѣ—крылечко съ навѣсомъ и галдарейкой выходитъ прямо на улицу.

Она поднялась, отворила дверь и очутилась въ темныхъ сѣнцахъ.

— Кто тамъ? — окликнулъ ее женскій сердитый голосъ.

— Батюшка дома? — спросила она, и сама не узнала своего голоса.

— Да кто вы?

Отворилась дверь изъ первой комнаты, небольшой зальцы.

Она повторила свой вопросъ.

— Да вамъ зачѣмъ?

„Матушка“ ее не признала.

— Такой ужасъ!.. Разстрѣляли... начальника станціи. Тѣло брошено... Я хочу просить батюшку...

— Нѣтъ его дома! — почти закричала попадья. — Оставьте вы насъ, ради Христа Спасителя! Нечего вмѣшиваться въ такое дѣло!

— Такъ батюшки нѣтъ? — беззвучно спросила Марья Ивановна.

— Толкомъ вамъ говорятъ! Избавьте вы насъ! Честью васъ просятъ... али нѣтъ?

И она своимъ толстымъ животомъ точно желала выпереть ее изъ комнаты.

Когда она сошла съ лѣсенки крыльца, ей показалось, что она совсѣмъ не Марья Ивановна Побѣдова, дворянка, помѣщица, вдова мирового судьи, дочь Ивана Павловича Чернова, а какая-то „женщина“, какъ называетъ прислуга... Сунулась клянчить о чемъ-то къ попадѣ, а та ее выгнала.

Да вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, кто она въ эту

минуту? Сообщница крамольниковъ, бывшая въ любовной связи съ государственнымъ преступникомъ. Всякій — не то, что офицеръ съ рыжей бородой, а и первый попавшійся солдатъ — можетъ ее остановить, избить, а то и выстрѣлить въ нее...

И опять она не узнавала своего голоса. Онъ сдѣлался старушечьимъ, вздрагивалъ и глухо вырывался изъ груди.

Ей нужно было особенно напрягать свой мозгъ, чтобы въ немъ держалась одна мысль, одно главное желаніе.

„Въ школу! Въ школу!“ — повторяла она мысленно и шла, задыхаясь и спотыкаясь на каждомъ шагу, точно ее кто сзади подталкивалъ ударами прикладовъ.

Она ошиблась — попала не въ тотъ переулокъ. Но она знала, куда идти, и школа — низковатая пятистѣнная изба — была ей памятна.

Надо взять влѣво. И сейчасъ будетъ амбарчикъ — „мшенникъ“, по-деревенски; потомъ еще повернуть и выйти на конецъ порядка.

Тутъ и школа. Въ ней во всѣхъ окнахъ — свѣтъ. Это ее удивило.

И тотчасъ же она разглядѣла нѣсколько темныхъ и сѣрыхъ фигуръ около школы, у входа. Это несомнѣнно — стражники и солдаты. Штыки можно пересчитать на полутемномъ фонѣ.

Что же это такое?

У ней захолодѣло внутри.

Она слышала отъ Семена Лукича, что учитель согласился отдать школу подъ перевязочный пунктъ. Его упросилъ Климовъ. Это она потомъ узнала и отъ сына.

Ихъ всѣхъ захватили — это ясно. Зачѣмъ же она пойдетъ туда?

Какъ, зачѣмъ? Тамъ раненые, умирающіе. Подло уклоняться, прятаться. Но вѣдь она пошла не за этимъ, а зачѣмъ, чтобы просить учителя спасти тѣло Семена Лукича.

Въ головѣ у ней опять мутится. Она схватилась за уголь бревенчатого сруба и смотрѣла туда... жадно, сосредоточенно.

Съ подъѣзда спустилось нѣсколько человекъ. Кого-то протащили... не то покойниковъ, не то умирающихъ, раненыхъ. Тащили стражники. По бокамъ солдаты. Пошли по направленію къ станціи.

На крыльцѣ показалась коренастая фигура въ свѣтлосѣромъ пальто. Она мгновенно узнала офицера...

За нимъ слѣдомъ двое солдатъ вывели кого-то связаннаго, безъ шапки, въ разстегнутомъ пиджакѣ и рубашкѣ безъ галстука.

По волосамъ и общему облику она больше отгадала, чѣмъ признала учителя.

Офицеръ, стоя внизу, подъ крыльцомъ, что-то крикнулъ солдатамъ и указалъ рукой.

Они повлекли учителя за уголь. И не

больше, какъ черезъ три-четыре минуты раздался залпъ... всего одинъ, въ нѣсколько выстрѣловъ.

Ее точно кто кольнулъ въ сердце. Она схватилась за грудь, глухо вскрикнула и упала, точно подкошенная, на снѣгъ.

XIX.

Полнеба охвачено заревомъ. Горѣли два завода одной и той же экономіи: сахарный и винокуренный. По дорогамъ тянулись длинными вереницами крестьянскіе обозы со всякимъ добромъ. Раздавались пѣсни, пьяные мужичьи и бабьи голоса, смѣхъ, крикливые разговоры и пѣсни до глубокой ночи.

По большой дорогѣ ѣхали парой пошевни. Кромѣ возницы, сидѣли трое. На двухъ чемоданахъ, покрытыхъ какой-то дерюгой, помѣщались внуки Ивана Павловича; а ихъ товарищъ Климовъ ютился спиной къ облучку, тоже на какомъ-то сундучкѣ, упираясь ногами въ бока пошевней.

Рыхлый снѣгъ посыпалъ ихъ. Лошади лѣниво тащились въ гору,

Всѣ трое долго молчали. Студентъ курилъ и стряхивалъ пепель. Курсистка, покрытая съ головой пледомъ, сидѣла съ низко опущенной головой.

Первый заговорилъ студентъ, обернувшись вбокъ, откуда зарево было всего сильнѣе.

— Всю ночь прогорить!

— Да, здорово выдрало,— откликнулся Климовъ и сплюнулъ на дорогу.

Они всѣ трое должны были скрыться. Если бы не хозяинъ постоялаго двора — пріятель Климова, — ихъ навѣрно бы схватили. Еще студентъ съ курсисткой могли бы какъ-нибудь „отвергѣться“, но Климова бы прикончили.

Впечатлѣнія погрома всего сильнѣе сидѣли въ студентѣ. Онъ не могъ стряхнуть ихъ съ себя.

Онъ достаточно наглядѣлся на то, какъ рабочіе, въ перемежку съ крестьянами — разбивали бочки съ виномъ и упивались имъ, валяясь въ грязномъ снѣгу. И тысячи пудовъ сахара бросали въ огонь или топили въ чанахъ. Пьяная толпа гудѣла вокругъ него, точно сцена изъ адской вальпургіевой ночи.

И не ужасъ, а отвращеніе вспыхивало въ его душѣ; но онъ не хотѣлъ поддаваться этимъ „буржуйнымъ“ чувствамъ.

Вѣдь и онъ, рядомъ съ товарищемъ своимъ Климовымъ, былъ „иниціаторомъ“ этого погрома. Онъ говорилъ на сходкахъ. А мужики были приглашены рабочими. И ихъ давно обижалъ экономъ, и они показали себя еще яростнѣе въ этихъ колоссальныхъ репрессалияхъ.

— Климовъ! А вѣдь все это — порядочная гадость!

— Что именно?

— Да вотъ та... вакханалія. Будь это на фабрикѣ... хотя бы на ткацкой у васъ — не было бы такихъ картинъ... прямо скотства.

— Пожалуй, и вѣрно. Но какъ же тутъ быть? Ихъ тысячи, а рабочихъ сотня-другая. Мужичье всегда пребудетъ мужичьемъ. Потому то мы, пролетаріи, и не можемъ съ ними спѣться въ самомъ главномъ. Теперь вотъ они пускай свои погромы продѣлываютъ... Все равно, капиталу — крышка, купеческая мануфактура это или барскій заводъ. А потомъ то, когда дѣло дойдетъ до самой сути... всѣ эти православные хрестьяне, — выговорилъ онъ по-мужицки, — окажутся самыми заскорузлыми буржуями. Ему только бы земли въ собственность, на вѣки вѣковъ. А кто же ему ее дастъ?

— Какая мерзость! — вырвалось опять у студента гадливымъ звукомъ, и онъ даже весь вздрогнулъ.

Сестра оглянулась на него.

— Къ чему такая сентиментальность, Дмитрій? — строго спросила она.

— А ты восхищалась?

— Не восхищалась, а принимала какъ неизбежную... реакцію. И не все ли намъ съ тобой равно: у владѣльцевъ этихъ заводовъ

остается десять или двадцать миллионъ? А говорятъ, они — въ сорока миллионъхъ.

— Но все-таки, такая пьяная орда... на что она годится? Какой серьезный переворотъ произведешь ты съ ней? Самую дикую пугачевщину!

— Другого отъ нихъ ничего и не требуется, — выговорилъ Климовъ, и усмѣшка подергивала его властный ротъ.

— Онъ у насъ все еще въ меньшевикахъ, — сказала, оглядываясь на Климова, курсистка и кивнула головой на брата.

Онъ ничего не отвѣтилъ. Ему не хотѣлось спорить. Одно онъ чувствовалъ, — что не можетъ онъ принимать все безпрекословно и скрывать свои чувства и впечатлѣнія. Чѣмъ ближе подходитъ дѣло къ „черной работѣ“ и въ деревняхъ, и на фабрикахъ, и въ городахъ, — тѣмъ чаще поднимаются въ немъ сомнѣнія.

Выскажись онъ имъ совсѣмъ, начистоту, и сестра, и Климовъ будутъ его стыдить; а гдѣ-нибудь на сходкѣ вотъ такому, какъ онъ, закричать: „Вонъ, буржуй... изъ гнилой интеллигенці!“

Они пробираются теперь въ Москву, тайкомъ. На станціяхъ вездѣ команды. Если ихъ захватятъ... будетъ глупо. Климова могутъ тутъ же у забора разстрѣлять. Ихъ заберутъ.

Онъ не трусить. Въ Москвѣ можетъ все произойти.

Тамъ идетъ открытая проповѣдь возстанія. Сестра его заражена этимъ. Климовъ только числится въ „большевикахъ“, но онъ давно уже за-одно съ дружинниками. Душой онъ не за платформу народниковъ. Онъ гордится тѣмъ, что онъ „пролетарій“; ему почти со-вѣстно, что онъ крестьянскаго званія. Но онъ вѣритъ въ то, что и мужичье вовлечено будетъ во всеобщую „катавасію“, какъ онъ выражается, и очутится въ рукахъ тѣхъ, кому достанется „диктатура пролетаріата“.

Эти мысли чередовались у него въ головѣ, и ему дѣлалось все жутче на душѣ.

Вспомнились домъ... дѣдъ... мать. Въ какой они оба тревогѣ: который день ничего не знаютъ о нихъ.

Жестоко это! Сестра только выдерживаетъ характеръ. Она говоритъ про мать, что та сидитъ „между двумя стульями“ и потому только стала либеральничать, что завела романъ съ разночинцемъ, съ начальникомъ станціи.

— А что теперь съ Курбачевымъ? — подумалъ онъ вслухъ.

— Тамъ навѣрняка команда, — отвѣтилъ Климовъ. — Хорошо, если удалось раньше улетучиться.

Никто изъ нихъ ничего доподлинно не зналъ. Они провели двѣ ночи по близости заводовъ у „благопріятеля“ Климова. Имъ было не до станціи. Знали они одно — что

новая забастовка, на этотъ разъ, „не выгорѣла“.

Зарево стало какъ будто поблѣднѣе. Они подѣзжали къ выселкамъ, между двумя трактами, гдѣ хозяинъ постоялаго двора — „знакомецъ“ Климова — долженъ былъ ждать ихъ и достать лошадей. Оттуда ихъ препроводятъ на другую чугунку, „кружнымъ путемъ“, и они проберутся въ Москву по линіи, гдѣ не должно быть никакихъ экзекуцій.

Ѣхали они лѣсомъ съ полчаса. Зарево все блѣднѣло. Дорога пошла мягче, безъ ухабовъ. Но всѣ они продрогли и проголодались.

— Милый человѣкъ, — окликнулъ Климовъ задремавшаго парня. — Ты знаешь ли, гдѣ домъ Ивана Кузьмичева?

— Какъ не знать, — хмуро отвѣтилъ парень.

— Переѣдешь плотину... въ два жилья будетъ домъ, съ мезониномъ.

— Знаемъ!

Выселки изъ десятка домовъ скучились вдоль овражка, надъ рѣкой. Еще издали можно было распознать двухъэтажную избу, стоящую поодаль, съ крутой крышей мезонина.

— Все на своихъ мѣстахъ! — весело вскричалъ Климовъ, сѣлъ поперекъ и спустилъ ноги съ одной стороны саней.

Они подѣзжали къ воротамъ. Въ нижнемъ жильѣ виденъ былъ свѣтъ. Климовъ

проникъ въ калитку и побѣжалъ искать хозяина.

— А если его разстрѣляли, Леля? — вполголоса спросилъ студентъ.

— Кого?

— Семена Лукича? Бѣдная мама!

Она ничего не отвѣтила и только пожала плечами.

— Дома! Ждалъ! Пожалуйста! И лошади будутъ.

Жаръ натопленной просторной горницы обдалъ ихъ. Хозяинъ, еще молодой, очень красивый мужчина — въ валенкахъ и полушубкѣ въ накидку — ввелъ ихъ туда изъ сѣней съ фонаремъ и сейчасъ же предложилъ „справить чайку“.

— А закусить будетъ? — спросилъ студентъ.

— Найдется... коли не побрезгуете.

Онъ собрался итти распорядиться и вернулся, присѣлъ къ нимъ и тихо сказалъ:

— На той... на вашей станціи кары были.

— Да?

Голосъ студента дрогнулъ.

— Станціоннаго закололи, слышь, штыками... и дружинниковъ перебили. Такимъ же манеромъ и учителя.

— Нѣтъ! Быть не можетъ! — крикнулъ Климовъ и поблѣднѣлъ.

— Вѣрно.

Братъ и сестра не смогли ничего сказать.

XX.

Темно, какъ въ гробу, въ альковѣ, гдѣ лежитъ Иванъ Павловичъ.

Ночникъ погасъ, и запахъ деревяннаго масла проникаетъ къ нему изъ кабинета.

Уже больше часа не спитъ онъ, а протянуть руку къ ночному столику, чиркнуть спичкой и зажечь свѣчу — не хочется.

Къ чему? Онъ знаетъ, что рано, раньше того времени, въ какое онъ привыкъ просыпаться. Можетъ-быть четыре, а можетъ — всего три.

Онъ прислушивается къ безконечной тишинѣ стараго дома. Весь онъ служитъ ему — безпомощной руинѣ — однимъ большимъ склепомъ, въ ожиданіи того дня, когда сосѣдскіе мужички захотятъ потѣшиться такъ... „здорово живешь“, чтобы такимъ „старымъ хрычамъ“, какъ онъ, неповадно было „прохлаждаться“ въ своемъ родовомъ дворянскомъ гнѣздѣ.

„И аренду не будемъ платить, и землю

твою вспашемъ, и какія есть животинки — всѣмъ вспоремъ животы, изъ барскихъ перинъ и подушекъ выпустимъ перо и пухъ, и книжки возьмемъ на подтопку, и халаты твои будемъ носить, и картины разныя повѣсимъ у себя въ избахъ“.

Все это онъ перебираетъ въ своей паразитально ясной головѣ безъ страха, безъ горечи, безъ малѣйшаго гнѣва.

Такъ должно было случиться, и онъ лежитъ тутъ, на собственной постели, по какому-то недоразумѣнію.

Его забыли. Или старики сказали на сходѣ передъ послѣднимъ погромомъ, прокатившимся по уѣзду въ родѣ какой-то лавины:

— Старичина тотъ... Черновъ... Иванъ Павлычъ — Богомъ убитый, калѣка, и жить ему всего на всего до половодья. Дольше не вытянетъ. Приберетъ его Господь... тогда мы и разсудимъ, какъ намъ съ усадьбой поступить... и со всѣмъ барскимъ добромъ. А земля наша — объ этомъ что же и толковать!

Все это ему слышится, точно онъ самъ сидитъ на сходѣ. Иначе какъ же объяснить то, что вотъ его родовое гнѣздо стоитъ еще невредимо? Кому и какъ его защищать? Вся-то его команда: истопникъ — такая же руина, какъ и онъ, да два парня, да три-четыре женщины — въ людской и на скотномъ дворѣ.

Обращаться къ властямъ? Просить ихъ,

требовать стражниковъ, солдатъ, казаковъ, или заводить собственную охрану?

Онъ даже засмѣялся, до такой степени дикой показалась ему эта мысль.

Не можетъ онъ кичиться тѣмъ, что открылъ „божественную истину“, не станетъ онъ и на краю гроба проповѣдывать непротивленіе всякому злу. Нѣтъ! Будь у него силы, получи онъ какимъ-нибудь чудомъ возможность покинуть этотъ домъ-гробницу и кинуться въ жаркую борьбу, какъ боецъ за то, что могло бы спасти его отечество, онъ ударилъ бы на врага.

Но развѣ не правы и тѣ, кто призываетъ всѣхъ борцовъ за свободу и социальную справедливость — самимъ возродиться, стряхнуть съ себя „ветхаго“ человѣка. И тогда все будетъ по-другому.

Но этого не будетъ! Не стряхнешь съ себя ничего, что изъ вѣка въ вѣкъ, отъ отца къ сыну, претворялось въ кровь и плоть. Вотъ онъ — идеалистъ и поэтъ, прожившій долгій вѣкъ, какъ „всечеловѣкъ“ — развѣ и онъ чистъ отъ всего барскаго, сословнаго, высокомерія и равнодушія, и житья на чужой счетъ, и услажденія себя всякими вышними утѣхами — рядомъ съ милліонами двуногихъ, прикованныхъ къ этой мачихѣ-землѣ, которою они такъ страстно и безповоротно хотятъ обладать, — „на вѣки вѣчные“?

Такихъ, какъ онъ — въ его сословіи — ма-

ленькая кучка. Ну да, они поддерживали свѣ-
тильникъ знанія, творчества, высшихъ духов-
ныхъ радостей. Но народъ, многомилліонную
громаду—они ко всему этому приобщить,
если и хотѣли, то не сумѣли.

И они были еще „солью“ своего сословія.

А остальные?

Еще на той недѣлѣ, потрясенный разго-
ворами со становымъ, онъ не спалъ до раз-
свѣта и, проснувшись, излилъ въ пламенныхъ
стихахъ свое возмущенное чувство.

Отдай онъ эти стихи своему внуку или его
товарищу Климову для публичнаго прочтенія
на митингъ—вся масса двинулась бы громить
все, что еще осталось въ уѣздахъ нетрону-
таго, въ помѣщичьихъ усадьбахъ и эконо-
міяхъ.

И его должны бы были арестовать, и мо-
жетъ быть, разстрѣляли бы.

Старецъ вздрогнулъ, вызвавъ въ своемъ
воображеніи эту картину.

Ее видѣла его дочь тамъ на станціи.

И она все это пережила... не сошла съ
ума, даже не заболѣла смертельно. У ней
хватило силъ добиться того, чтобы его по-
хоронили, какъ человѣческое существо, а не
бросили въ яму, какъ зачумленную собаку.

Чего она натерпѣлась! И чего съ ней цере-
мониться, хоть она и барыня, дочь владѣ-
теля усадьбы, вдова почетнаго мирового
судьи?

„Полюбовница“ разночинца, начальника мелкой станціи, крамольника.

И теперь вотъ, послѣ такого удара, сердце матери гложетъ полная неизвѣстность — гдѣ ея дѣти, что ихъ ждетъ въ Москвѣ?

Жестокіе они дѣти — это несомнѣнно! О себѣ онъ уже ничего не говоритъ. Можетъ, и онъ виноватъ въ томъ, что желалъ удалить ихъ отсюда? Но зачѣмъ же было такъ беспощадно наказать ихъ обоихъ, и дѣда, и родную мать? Скрыться и до сихъ поръ не давать о себѣ никакихъ вѣстей — ни телеграммы, ни открытки въ три копейки?!

Послѣ похоронъ Курбачева, его дочь металась по округѣ, узнавая — не схватили ли ихъ съ товарищемъ Климовымъ передъ пожаромъ обоихъ заводовъ или на другой день.

И дѣти не могутъ быть иными. Таковъ былъ ходъ русской „эволюціи“, — мысленно выговорилъ онъ неизбѣжное ученое слово.

Горько такъ готовится къ смерти, какъ онъ къ ней готовится; знать, что ты будешь заживо погребенъ въ своемъ дворянскомъ логовищѣ. Но лучше, достойнѣе того, кто предвкушаетъ конецъ всего — покаяться во всѣхъ своихъ вольныхъ и невольныхъ прегрѣшеніяхъ.

„Дождались краха, — думаетъ старецъ словами, которыя мысленно произноситъ, — дождалось, потому что мы — старые, заштопан-

ные мѣхи, и въ насъ не вливается молодое, искрометное вино“.

Въ первый разъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ— „калѣка“, захотѣлось ему такъ страстно: не вставать больше съ этой постели и отойти въ вѣчность— безъ страданій, безъ гнѣва, безъ страха, безъ обиды на что-либо и на кого-либо.

Было бы отвратительнымъ себялюбіемъ удерживать при себѣ дочь. Она рвется въ Москву.

Сегодня же онъ будетъ просить и настаивать на томъ, чтобы она ѣхала, какъ только по линіи возстановится движеніе.

Ему никого не нужно. Онъ ничего не боится.

Кто-нибудь накормить его. И его ровесникъ Пахомъ будетъ носить „лузгу“ и охапки соломы, пока можно будетъ. Прекратится топливо— застынетъ кровь... быть можетъ сама собою, раньше, чѣмъ бывшій дворовый сказочникъ приволочетъ, черезъ великую силу, послѣднюю вязанку соломы.

Одна у него мольба къ Всеблагому Провидѣнію: чтобы, уходя изъ жизни, не издать ни одной жалобы и вѣрить, что многострадальная родина возродится изъ ужасовъ, какихъ они— неисправимые идеалисты— никогда не допускали!

Дрогнетъ строй безправія, падутъ „Орда“ и „Византія“. На вальтассаровомъ пиру без-

божнаго всевластія огненными буквами всплывуть слова грядущаго возмездія.

Ему не дожить до суднаго дня. Но и въ эту минуту приготовленія къ вѣчному сну онъ, сознательно и благодарно, не за одного себя, а за всѣхъ... и правыхъ и виноватыхъ, и кроткихъ и неистовыхъ, и просвѣтленныхъ и погруженныхъ въ тьму кромѣшную невѣжества и унизительнаго рабства — говоритъ:
„Нынѣ отпускаеши!“

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

По Большой Никитской поднимался молодой мужчина, въ пальто съ барашковымъ воротникомъ и въ такой же мѣховой шапкѣ. Золотое рінсе-нез дѣлало замѣтнѣе его худое, красивое лицо сильнаго брюнета. Онъ шелъ по правому тротуару. Ъзда поутихла; но пѣшеходовъ попадалось достаточно; больше все изъ учащейся молодежи.

Миновалъ онъ зданіе консерваторіи и сталъ чаще посматривать на дома, какъ бы ища какой вывѣски. Улица только что освѣтилась. Шелъ пятый часъ вечера.

Ему надо было найти одну „меблировку“ по правой сторонѣ улицы. Кажется, онъ тамъ бывалъ еще въ годы своего студенчества, но отчетливо не помнилъ: нужно ли войти во дворъ или подъѣздъ — съ улицы?

Ему трудно быть внимательнымъ: каждый разъ, какъ онъ идетъ мимо зданія университета и по направленію къ Никитской или

Воздвиженки — имъ неизмѣнно овладѣваетъ душевная горечь.

Запертъ университетъ. Лежить какъ въ летаргическомъ снѣ. Нѣтъ науки, нѣтъ преподаванія, къ которому онъ такъ любовно и трепетно готовился. И когда все это возродится, когда молодежь въ состояніи будетъ вернуться подъ крыло своей „alma mater“?

Самыя эти слова — „alma mater“ если ихъ произнести вслухъ — зазвучатъ чѣмъ-то выдохшимся, „академическимъ“, какъ нынѣ пренебрежительно говорятъ.

Кому это нужно? Кого вы затащите къ себѣ въ аудиторію, даже если бъ лекціи и снова открылись?

До науки ли? Онъ самъ — такой вѣрный питомецъ точнаго знанія — чувствуетъ, что ему трудно было бы отдаваться своему призванію такъ, какъ онъ мечталъ объ этомъ два-три года назадъ.

И въ немъ все поставлено вверхъ дномъ съ того дня, какъ онъ самъ, вотъ тутъ, около манежа, былъ свидѣтелемъ засады „черносотенцевъ“ противъ студентовъ.

Своими собственными глазами видѣлъ онъ, какъ звѣрская кучка хулигановъ ловила студента, точно дикаго звѣря; его схватили, повалили на землю, били ногами, потомъ стали подбрасывать на воздухъ такъ, чтобы онъ разбивался о мостовую.

Онъ хотѣлъ было крикнуть, броситься, но

его самого толкнули чѣмъ-то въ затылокъ, и онъ свалился на тротуаръ.

И было это тотчасъ послѣ радостнаго дня, когда вся Москва ликовала и пѣла гимнъ свободѣ.

Быть можетъ, тогда та дѣвушка, которую онъ такъ полюбилъ, и могла бы увлечь его въ революціонное движеніе. Онъ заболѣлъ отъ всѣхъ этихъ потрясеній; а когда сталъ оправляться—ея уже не было въ Москвѣ. Онъ знаетъ, что она ѣздила съ братомъ въ провинцію — „распропагандировать“ и мужиковъ, и рабочихъ.

И вотъ теперь она здѣсь. Совершенно случайно узналъ онъ объ этомъ. Ему назвали студенческую меблировку на Никитской. Онъ не хотѣлъ писать ей — предупредить о своемъ визитѣ.

Эта дѣвушка не можетъ имѣть къ нему дурныхъ чувствъ. Она давно видитъ, какъ она ему дорога. Все ихъ должно было бы сблизить — да... но раньше, года три-четыре назадъ, когда она была еще гимназистка, а тогда онъ еще не встрѣчалъ ея.

Теперь она только числится „курсисткой“, но въ ея глазахъ все презрѣнно, что — не служеніе „дѣлу“. По своей „платформѣ“ — она стоитъ на самомъ краю, и ему страшно объ этомъ думать.

Онъ и раньше былъ безсиленъ — направить ее въ другую сторону. Проповѣдывать

что-нибудь болѣе умѣренное—значило бы па-
дать въ ея глазахъ.

Но и личины онъ не хочетъ надѣвать на
себя. Насилиемъ, кровью, терроромъ ничего
не создашь, откуда бы они ни шли — сверху
или снизу — все равно.

Вотъ она вернулась сюда, когда броженіе
дошло до „бѣлаго каленія“. На митингахъ
прямо проповѣдуютъ возстаніе. Идутъ сборы
на организацію боевыхъ дружинъ.

„Что это я?“ Онъ остановился и сталъ
оглядываться. Кажется, онъ прошелъ дальше,
чѣмъ слѣдовало.

Но вотъ домъ за палисадникомъ. Развѣ
это не тутъ?

Онъ протеръ стекла pince-nez и пристально
воззрился.

Да, есть вывѣска.

„Южный полюсъ“ — прочелъ онъ вслухъ
и удивился тому, что до сихъ поръ ему
не привелось обратить вниманіе на такое
курьезное названіе мебелировки.

Въ открытыя ворота онъ прошелъ къ подъ-
ѣзду съ навѣсомъ. Это былъ когда-то бар-
скій особнякъ, всего въ два этажа, теперь и
снаружи очень запущенный.

Имъ внезапно овладѣло жуткое волненіе,
когда онъ сталъ подниматься по скользкимъ
ступенькамъ довольно высокаго крыльца.

Внизу что-то въ родѣ швейцара, — паренъ
въ поддевкѣ и высокихъ сапогахъ. Пахнетъ

керосиномъ пополамъ съ табачнымъ дымомъ.

Справа на стѣнѣ — черная доска съ именами жильцовъ.

Сначала онъ было подошелъ къ доскѣ.

— Да вамъ кого, господинъ? — остановилъ его привратникъ.

— Госпожа Побѣдова... здѣсь живетъ?

— Изъ студентокъ?

— Да, курсистка.

— Такъ точно, здѣсь.

— Она дома?

— Должна быть дома. Не выходила... Подымитесь... Номеръ десятый, по правую руку вторая дверь.

Онъ взбѣжалъ, шагая черезъ ступеньку. Его волненіе все росло.

Въ коридорѣ было настолько темно, что онъ не могъ бы прочесть на двери номера.

Вотъ вторая дверь. Онъ постучалъ.

— Войдите! — отвѣтилъ женскій голосъ.

Въ узкой комнаткѣ, освѣщенной одной свѣчей на комодѣ, Леля Побѣдова стояла въ шляпкѣ и кофточкѣ, собираясь итти.

— Елена Сергѣевна! Наконецъ-то я васъ нашель!

— А! Знаменскій! Здравствуйте!

Рукопожатіе вышло мужскимъ — не больше.

— Вы уходите? — спросилъ онъ.

— Ничего! Я могу еще посидѣть. Успѣю... Снимайте ваше пальто. Поболтаемъ.

Тонъ ея былъ все такой же — студенческой. Онъ къ нему привыкъ; но его все-таки кольнуло то, что она такъ его встрѣтила, — точно они видѣлись вчера.

Они сѣли на узкій, жесткій диванъ. Въ углу стояла кровать. Дорожный сундучекъ у двери былъ раскрытъ.

— Вы меня искали? — спросила она съ своей обычной хмурой усмѣшкой.

— Да, искалъ. Вѣдь я ровно ничего не зналъ о васъ, Елена Сергѣевна.

— Какъ видите, цѣла и невредима.

— Вы ѣздили къ своимъ... Но не за этимъ однимъ?

— Всего было достаточно. Насъ съ Митей попросили оттуда удалиться.

— И вы изъ огня попадаете въ полымя?

Онъ не выдержалъ тона и, протянувъ къ ней руку, перебилъ себя.

— Елена Сергѣевна! Дорогая! Вы знаете... я не изъ простого любопытства. Но сколько я слышу... здѣсь такое броженіе...

— Васъ это удивляетъ, Знаменскій?

— На митингахъ прямо призываютъ къ вооруженному возстанію.

— Коли нѣтъ другого выхода?

— Но вѣдь это безуміе! — глухо вскрикнулъ онъ, чувствуя, какъ лобъ его сдѣлался вдругъ влажнымъ.

— Какъ будто вы не знаете, что теперь происходитъ?.. На что же рассчитывать? Повто-

рить всеобщую забастовку нельзя. Она не удастся. Вы видите, Петербургъ уже бьетъ отбой. И въ другихъ желѣзнодорожныхъ центрахъ... И союзы придушены. Чего же ждать, спрашиваю я васъ?

— Но какія же средства надо на это? Я не въ курсѣ, какъ вы, Елена Сергѣевна, но могутъ ли вожаки революціи рассчитывать на дружину... хотя въ двѣ тысячи человѣкъ?

— Двѣ тысячи!.. Десять и больше найдется!

— Ихъ надо вооружить не одними браунингами.

— Нуженъ только толчекъ,— и все явится. Она взглянула на него вбокъ.

— А вы, Петръ Петровичъ, все еще вѣрите въ мирную эволюцію? Ха - ха! И не чувствуете, что подъ вами трясется почва?

— Чувствую... Но я не могу присутствовать при томъ, какъ вы, Елена Сергѣевна, добровольно обрекаете себя на гибель!

Голосъ его замѣтно дрогнулъ.

— А вашъ братъ?.. — спросилъ онъ, перебивая себя.

— Братъ мой разсуждаетъ въ родѣ васъ. Онъ не вѣритъ въ успѣхъ возстанія.

— Вотъ видите!.. А вы... женщина, молодая дѣвушка... не можете же вы братъ на себя роль дружинника, строить баррикады, подставлять себя подъ пулеметы?

— Отчего? Оттого, что я существо дру-

гого пола? Ха - ха! Оставьте эти доводы! Вы вѣдь защитникъ феминизма. Мы—женщины—въ народные представители не попадемъ. По крайней мѣрѣ, тутъ никто намъ не запретитъ драться рядомъ съ мужчинами.

— Послушайте, Елена Сергѣевна, — онъ взялъ ее за руку. — Бросьте этотъ тонъ съ человѣкомъ, которому вы такъ дороги. Если вы сами не цѣните ни во что свою личность, то зачѣмъ же вы отнимаете ее у того, кто васъ любитъ...

Эти слова слетѣли съ его губъ такъ неожиданно для него самого, что онъ, весь трепетный, опустилъ голову и сидѣлъ въ глубокомъ смущеніи.

— Что это, Петръ Петровичъ, признаніе?

— Да, — выговорилъ онъ чуть слышно.

— Слишкомъ стремительно! Спасибо за ваше чувство ко мнѣ, но, право, теперь не моментъ...

Она поднялась и стала застегивать кофточку.

— Не моментъ? — съ нѣкоторой горечью переспросилъ онъ.

— Не хорошо, не честно... заниматься любовью теперь.

— Извините!

Въ голосѣ его дрогнули слезы.

— Мнѣ надо итти, Знаменскій. Извините и вы меня. Выйдемъ вмѣстѣ.

Онъ сдѣлалъ надъ собою усиліе, чтобы не заплакать.

II.

Опять онъ бредеть по тротуару Садовой, туда, къ „старымъ“ Триумфальнымъ воротамъ.

Тамъ будетъ большой митингъ, въ одной изъ залъ „Аквариума“.

Билетъ дала ему она — на прощанье.

Такъ все это вышло неуклюже, глупо. Точно онъ мальчишка, гимназистъ, да и гимназисты теперь ведутъ себя иначе.

Но онъ не совладалъ съ собою. Вся неудачная его любовь вскипѣла въ немъ. И такъ стало жаль эту дѣвушку, обречшую себя на вѣрную гибель.

Ея фанатизмъ, ея упорная вѣра въ побѣду „праваго дѣла“ только возросли за тѣ недѣли, когда она жила въ провинціи.

И нѣтъ у него силы — разубѣдить ее, удержать, показать другой путь.

Она почти что издѣвается надъ нимъ. Не изъ злости, не изъ задора говорила она такъ съ нимъ. Но онъ, въ ея глазахъ, — „ветхій

человѣкъ“, неспособный понять, что все, что не ея „платформа“—то старье, дореформенное, трусливое, „буржуйное“.

И такого человѣка, хотя бы „разъученаго“—она полюбить не можетъ, и никогда не полюбитъ. Она не объяснила ему это такъ прямо, потому что она все-таки „дворянское дитя“. Но это ясно, какъ Божій день.

Подавая ему билетъ на митингъ, она сказала, съ блескомъ въ глазахъ:

— Загляните! Вамъ будетъ понятно, почему то, чѣмъ теперь заряжена Москва— не можетъ кончиться ничѣмъ, кромѣ баррикадъ!

И прибавила съ усмѣшкой:

— Предупреждаю, что можетъ выйти и столкновение съ полиціей. Если не хотите ночевать въ участкѣ, револьвера съ собою не берите.

Какъ же онъ могъ отказаться? Но если бы тамъ, на этомъ „пролетарскомъ“ митингѣ, что-нибудь и вышло—тѣмъ лучше! Пускай она увидитъ, что онъ— не трусь!

Ему страстно захотѣлось кинуть ей вопросъ.

— А если бы я очутился съ вами на баррикадѣ, вы тогда способны были бы полюбить меня?

Это было бы еще глупѣе.

И вотъ его потянуло на этотъ „митингъ“, какъ, навѣрно, произносятъ ея „товарищи“ по революціи, фабричные и мастеровые— съ удареніемъ на второмъ слогѣ.

Ходилъ онъ и на митинги рабочихъ, и на тѣ агитаціонныя собранія „кадетовъ“, гдѣ допускаются ораторы изъ крайнихъ лѣвыхъ.

Не дальше, какъ два дня назадъ, онъ выслушалъ цѣлыхъ три рѣчи профессиональныхъ „эсъ-дековъ“ на одномъ агитаціонномъ кадетскомъ митингѣ

Они разносили кадетовъ — одинъ жесточе другого. Но всѣ ихъ обличенія, возгласы, негодующіе окрики и призывы къ вооруженному возстанію онъ знаетъ наизусть. Не можетъ онъ брать ихъ въ „серьезъ“, хотя и старается подавить въ себѣ чувство своего умственного превосходства. Одинъ изъ этихъ „большевиковъ“ — съ густой черной бородой, въ косовороткѣ, съ сильнымъ выговоромъ на „онъ“, съ пѣвучимъ и со вздрагиваніемъ голосомъ — казался ему плохимъ актеромъ, играющимъ роль „народнаго трибуна“.

Вотъ и сейчасъ онъ услышитъ то же самое, и придется стоять въ тысячной толпѣ, въ страшной духотѣ, безъ возможности двинуться.

Толпу онъ никогда не любилъ, а теперь она дѣлается ему съ каждымъ днемъ все невыносимѣе. А онъ вѣдь считаетъ себя „демократомъ“! Онъ стоитъ за свободу народа, за его экономическое „раскрѣпощеніе“. Но видно, все это только — „академическія“ воззрѣнія, а не то, что влечетъ Елену Побѣдову на вѣрную смерть.

Незамѣтно добрался онъ до яркаго электрическаго свѣта у колоннады увеселительнаго заведенія, которое, волею судьбы, превратилось въ огромный революціонный клубъ.

Длинная вереница темныхъ фигуръ уже запружала улицу. И онъ сталъ въ ряды, держа въ рукѣ свой билетъ.

Надъ головами ходилъ паръ отъ тысячи дыханій въ бѣлесоватомъ свѣтѣ длинной, голой залы.

Какъ онъ и предвидѣлъ, его затерли въ сплошной массѣ мужчинъ и женщинъ. Духота все возрастаетъ. Его душитъ. Потъ выступилъ на лбу и на лицѣ. Такъ тѣсно, что нельзя двинуть рукой и вынуть платокъ изъ бокового кармана.

Куда ни взглянешь — все „товарищи“. Рабочіе преобладаютъ. Но много, очень много молодежи. Сѣрыми тужурками и блузами студентовъ и гимназистовъ пестритъ эта сплошная стѣна человѣческихъ тѣлъ. Дѣвушки въ шапочкахъ, шляпкахъ и простоволосыя, въ пальто съ башлыками и въ кофточкахъ — видны вездѣ, и вокругъ него, и впереди, и на эстрадѣ, сплошь залитой народомъ, около кафедръ, подъ нею... Того и гляди, все это рухнетъ. А если вдругъ разразится паника — живой отсюда не вырвешься.

У него начались сердечные перебои. Онъ зналъ, что ему, съ его порокомъ сердца, не слѣдовало — ни подъ какимъ видомъ —

являться сюда. Глазами онъ долго искалъ ее. Ему сначала показалось, что ея голова, въ низкой, мерлушковой шапочкѣ — вотъ тамъ, на эстрадѣ, въ правомъ углу. Это только такъ показалось. Но она должна быть здѣсь. Она вѣдь не на смѣхъ же его пригласила и очень серьезно сказала ему:

— Мнѣ надо зайти въ одно мѣсто, на Воздвиженкѣ, а къ семи я буду тамъ — непременно.

А теперь уже гораздо позднѣе. Говорило нѣсколько человекъ. Сначала онъ съ трудомъ схватывалъ то, что долетало до него въ самый конецъ залы, съ плохой акустикой. Да онъ и не хотѣлъ напрягать свой слухъ.

Головы — надъ каедрой — смѣнялись: то лохматая, то стриженная, то черная, то бѣлокурая. Пиджаки, косоворотки, тужурки, блузы. Много словъ, гнѣвный или плачущій тонъ. Или готовые, какъ бы заученныя тирады, или что-то нудное, длинное, безконечное.

Хлопали всѣмъ. Раздавались крики и съ эстрады, и изъ середины зала, и изъ хвоста ея, гдѣ онъ стоялъ.

Все выше дѣлалась температура „настрое- ния“. Всякая рѣчь кончалась призывомъ къ борьбѣ „не на жизнь, а на смерть“.

И эти призывы болѣзненно отзывались въ немъ. „На смерть“ обрекла себя и любимая имъ дѣвушка. И она, навѣрно, тутъ, хлопаетъ, кричитъ, увлекаетъ другихъ.

Но гдѣ — онъ отчаялся отыскать ее глазами въ этомъ морѣ головъ.

Вышелъ короткій перерывъ.

На эстрадѣ появился „товарищъ“, встрѣченный особенно сильнымъ взрывомъ рукоплесканій.

— Дѣминъ! Браво! Дѣминъ! — кричали около него.

Худой блондинъ, съ вихромъ на лбу, въ синей блузѣ, блѣдное лицо, большая увѣренность въ себѣ. Ему стоило провести въ воздухъ рукой, и все смолкло.

Гдѣ онъ его видѣлъ или слышалъ?

Гдѣ-то навѣрно, и вспомнилъ, что онъ выступалъ у „кадетъ“ и очень зубасто ихъ обличалъ. Онъ вспомнилъ даже то, что кто-то изъ его знакомыхъ говорилъ ему — кто этотъ Дѣминъ. Онъ — пострадавшій народный учитель и считается первой силой среди профессиональныхъ ораторовъ.

Заговорилъ онъ спокойно, безъ усилій, безъ криковъ. Это были не тѣ избытые доводы. Онъ не отрицалъ возстаніе, когда пролетаріатъ истощитъ всѣ средства борьбы; но насталъ ли этотъ моментъ — это еще вопросъ. И нужно ли истиннымъ борникамъ социаль-демократіи играть въ руку социаль-революціонеровъ, желающихъ непременно захватить власть въ свои руки и тогда — „сорвать“ движеніе?

Поднялись протесты. Влѣво отъ эстрады,

у самой стѣны — нѣсколько человѣкъ стали разомъ кричать что-то. Начался общій гамъ.

На эстрадѣ вышло замѣшательство. Ораторъ не уступалъ своего мѣста. И не сошелъ съ эстрады до тѣхъ поръ, пока не предложилъ своей резолюціи.

Митингъ грозилъ перейти въ схватку. Противъ резолюціи полились пламенные рѣчи. Чувствовалось, что вся эта масса настроена такъ, что готова была бы сейчасъ же выйти на улицу и схватиться съ тѣмъ „лютымъ врагомъ“, котораго клеймили всѣ ораторы.

Молодой ученый близокъ былъ къ обмороку. Въ сердцѣ у него давно уже начались перебои. Въ глазахъ мутилось. Онъ сталъ протискиваться къ выходу. Томительно продирался онъ. И въ сѣняхъ, и въ длиннѣйшемъ коридорѣ — все было полно. Другая волна прилиwała съ улицы, и въ этомъ водоворотѣ ему стало еще труднѣе двигаться къ выходу.

Голова у него закружилась. Онъ схватился за какой-то выступъ. Страхъ, что его затопчутъ, если онъ упадетъ, холодащей каплей проползъ въ его грудь.

И когда онъ очнулся, то былъ уже на подъѣздѣ. Какъ онъ добрался къ выходу въ полубезсознательномъ состояніи — показалось ему какимъ-то чудомъ.

Не прошло и пяти минутъ, какъ онъ, подъ колоннадой, на улицѣ — попалъ въ схватку

толпы съ городовыми и казаками. Крики, визгъ и плачь женщинъ, обнаженныя шашки, массовые аресты, обшариваніе всѣхъ.

Онъ ринулся куда-то влѣво и побѣжалъ, проваливаясь въ рыхлый снѣгъ, перескочилъ черезъ плетень, упалъ и во второй разъ лишился чувствъ.

III.

По коридорамъ не слышно шаговъ — коверъ смягчитъ ихъ. А взадъ и впередъ по длиннѣйшему коридору верхнаго этажа гостиницы ходитъ Марья Ивановна Побѣдова, одѣтая по-домашнему — въ длинную суконную кофту, съ черной кружевной косынкой на головѣ.

Третьяго дня добралась она до Москвы и сейчасъ же бросилась отыскивать дѣтей. Сына, до сегодня, она еще не нашла. На его старой квартирѣ, на Патріаршихъ прудахъ, она не могла добиться толку. Хозяйка другая. Никто изъ теперешнихъ жильцовъ его не зналъ. Да если бы кто и помнилъ, то онъ выписался въ отъѣздъ, когда поѣхалъ въ деревню.

Въ адресномъ столѣ ей дали его старый адресъ — тотъ же, на Патріаршихъ прудахъ. Видимое дѣло, онъ еще не прописался, да и не пропишется. Ему надо скрываться.

Дочь она нашла скоро — въ меблирован-

ныхъ комнатахъ, на Никитской. Но ея не оказалось дома. Она ушла наканунѣ и не возвращалась.

Это еще болѣе взволновало ее.

Гдѣ искать? У кого справиться?

И вдругъ она вспомнила фамилію того доцента, котораго видала у Лели въ послѣдній свой прїѣздъ въ Москву.

Онъ съ нею говорилъ о Лелѣ въ такомъ тонѣ, что нетрудно было понять — какія въ немъ чувства. И тогда она жалѣла, что дочь о немъ отзывалась, какъ о „книжникѣ“.

Отыскать его было легко. Но и его она не захватила дома.

Что-то случилось съ нимъ особенное. У него меблированная квартира — отъ жильцовъ. Хозяйка — очень почтенная особа — успѣла ей сообщить, что ея жилецъ вернулся откуда-то два дня назадъ совсѣмъ больной — съ нимъ гдѣ-то случился обморокъ. Онъ былъ весь въ снѣгу. Но подробностей никакихъ ей не рассказалъ.

— Думаю я, что попалъ Петръ Петровичъ на какую-нибудь сходку. Или просто на улицѣ случилось что-нибудь такое... Теперь всего можно ждать.

Марья Ивановна не могла удержаться и спросила:

— А скоро ждуть вооруженнаго возстанія?

— Говорять, сильно говорятъ. Дружинники эти, слышно, готовы. Ночей не спимъ...

Можетъ и въ нашихъ мѣстахъ начнется. А на Бронной... въ Грузинахъ — навѣрно.

Марья Ивановна оставила записку Знаменскому, умоляя его быть у нея завтра; а если что-нибудь случилось съ Лелей, то дать ей депешу.

Къ дочери она посылала изъ гостиницы съ запиской вчера вечеромъ. Сама она слегла отъ мучительной головной боли.

Посыльный вернулся безъ всякаго отвѣта. — Барышня дома еще не бывали.

Это еще больше ее всколыхнуло. До разсвѣта она не могла заснуть. Проснувшись она безъ головной боли и хотѣла было летѣть на Никитскую, но ее удержала записка отъ Знаменскаго. Онъ будетъ около двѣнадцати. „Елену Сергѣевну“ видѣлъ онъ три дня назадъ. Про Митю онъ не сказалъ ничего. Но, съ его помощью, она разыщетъ и сына. Знаменскій — университетскій, долженъ знать много студентовъ.

Полчаса ходитъ Марья Ивановна по верхнему коридору, спускается на площадку второго этажа, посидитъ тамъ въ креслѣ, около подъема въ читальню. Оттуда видно внизъ по главной лѣстницѣ. Идетъ бойкая жизнь. Снуютъ официанты, пробѣгаютъ мальчики въ сѣрыхъ курткахъ, сходятъ сверху и поднимаются жильцы, полотеры въ блузахъ сносятъ вещи и тащатъ вверхъ чемоданы и узлы.

Она все надѣется, что вотъ-вотъ на нижней площадкѣ покажется ея Леля.

Пробило двѣнадцать, тутъ, на стѣнныхъ часахъ, висящихъ въ проходѣ къ буфету.

Поднимается молодой мужчина, въ барашковой шапкѣ и длинномъ пальто.

Она не сразу узнала Знаменскаго. Но ей точно кто подсказалъ, что это онъ. Она сейчасъ же вспомнила, какъ его зовутъ.

— Петръ Петровичъ!— окликнула она его сверху, поднимаясь съ кресла, и увела его наверхъ, къ себѣ, въ номерокъ, и такъ взволновалась, что обняла его.

— Жива Леля?— прошептала она.— Говорите правду!

— Я былъ у нея третьяго дня.

— А потомъ, что съ ней случилось?

— Не знаю, Марья Ивановна, я больше не видалъ Елены Сергѣевны.

— Съ вами что-то случилось?.. Мнѣ хозяйка вашей квартиры говорила...

Онъ немного покраснѣлъ.

— Испыталъ въ чужомъ пиру похмѣлье. Попалъ въ уличную схватку.

— Вы, кажется — не такой?

— Елена Сергѣевна предложила мнѣ быть на одномъ митингѣ. Я пошелъ. Тамъ я не могъ отыскать ее глазами ни въ залѣ, ни на эстрадѣ. Мнѣ дѣлалось дурно отъ духоты. Я насильно продрался... А у подъѣзда вышла исторія съ полиціей и казаками. Я долженъ былъ бѣжать... упалъ и лишился чувствъ.

Взглядъ его добрыхъ свѣтлыхъ глазъ стыдливо остановился на ней.

— Вы видите, Марья Ивановна, я не герой. Но вѣрьте, я готовъ былъ бы поплатиться свободой, только бы дочь вашу спасти... отъ того, что ее можетъ ждѣть.

— Вы что - нибудь знаете? — стремительно спросила она и схватила его за руку.— Говорите... Я тверда. Я столько пережила въ эти дни... что совсѣмъ окаменѣла.

— Увѣряю васъ... я ничего еще трагическаго не знаю.

— Но Леля не возвратилась вчера... Гдѣ она... гдѣ она?

— Вчера ничего не было такого, о чемъ бы говорили въ городѣ.

— Ее могли захватить въ какой - нибудь конспиративной квартирѣ... Митю я тоже еще не отыскала. Живъ онъ, здѣсь, въ Москвѣ, или тамъ, у насъ... не знаю, ничего не знаю!

Блѣдная, сидѣла она съ опущенными на колѣни руками, и двѣ тихія слезы медленно текли по щекамъ.

Если бъ только онъ могъ знать — черезъ что она прошла тамъ... на станціи?!

И ей мгновенно представилась та минута, когда Семена Лукича кололи штыками, и кровь брызнула въ нѣсколько струй.

Она закрыла лицо ладонями.

— Простите, Петръ Петровичъ. Я васъ

совсѣмъ разстроила... Вы ее любите! Я знаю. Будемъ вдвоемъ спасать ее. Но есть ли надежда на это? Я извѣрилась. Не могу я и жаловаться. И меня подхватила та же волна...

— Васъ, Марья Ивановна?

— Да, да... если бъ вы только все знали!

Стыдно ей стало изливаться передъ нимъ

Оба замолчали и такъ съ полминуты сидѣли на диванѣ, не глядя другъ на друга, съ опущенными головами.

Въ дверь постучали. Они разомъ вскочили.

— Это Леля!—радостно закричала Марья Ивановна и бросилась къ двери.

Это была ея дочь. Она обняла ее порывисто, не выдержала и громко заплакала.

— Мама, что ты, что ты! Успокойся!

Дочь посадила ее на край постели и обернулась къ гостю.

— А! Знаменскій! И вы здѣсь! Мама, навѣрно, посылала за вами? Ну, здравствуйте!

Она пожала ему руку, какъ всегда, по-мужски, и сѣла на стулъ, не снимая ни кофточки, ни барашковой шапочки.

Марья Ивановна торопливо отирала заплаканное лицо.

— Гдѣ ты была? — спросила она, подсаживаясь къ дочери... — Я такъ напугалась.

— Ахъ, мама, самая простая вещь... ѣздила къ подругѣ... за городъ... вотъ и все.

И по лицу ея обоимъ было видно, что она говорить правду.

— А вы, Знаменскій, кажется, удалились до конца?

— Я не могъ вынести духоты.

— И хорошо сдѣлали. Вышло нѣчто довольно безобразное—нагайки... аресты... обыскиванья! Простите, что ввела васъ въ искушеніе.

Тонъ дѣвушки оставался тотъ же. Ему было бы слишкомъ жутко рассказывать ей про свой обморокъ... и бѣгство.

Онъ началъ прощаться. Марья Ивановна его не удерживала.

Она проводила его нѣсколько шаговъ по коридору.

— Простите ее, Петръ Петровичъ... У нея съ вами невозможный тонъ. Простите и меня... я совсѣмъ какъ въ чаду.

Когда она отворила дверь въ свой номеръ, дочь ея что-то такое отмѣчала карандашемъ въ записной книжкѣ.

— Леля! ты жива!

Она хотѣла было обнять ее, но дочь отвела рукой.

— Мама! Зачѣмъ такъ волноваться? Ну извини, мы съ Митей уѣхали, не простившись ни съ тобой, ни съ дѣдушкой. Такъ надо было. Вѣдь если бъ мы замѣшкались, насъ бы арестовали.

— А Митя гдѣ?

— Я не знаю.

— Арестованъ? убить? Говори! заклинаю тебя!

— Право, не знаю. Онъ долженъ быть здѣсь.

— Но я не могла получить его адреса.

— Онъ, разумѣется, не прописанъ. Но я узнаю. Дай мнѣ сроку... сутки. Я должна тебѣ сказать, мама, что Митя со мною во многомъ не солидаренъ. Онъ дѣлается заядлымъ меньшевикомъ. И ты за него не должна очень опасаться... на случай, если выдетъ здѣсь...

— Что? что? — прошептала Марья Ивановна надъ головой дочери.

— Ты сама знаешь что.

— И ты... кинешься въ это?

— Мама! — Дѣвушка вся выпрямилась. — Тебѣ не пристало такъ вести себя. Ты сама сочувствовала движенію. Ты потеряла любимаго человѣка. Я знаю. Семенъ Лукичъ былъ заколотъ на нашей станціи.

— Не говори... я все видѣла... своими глазами видѣла!

Она глухо зарыдала и отошла къ окну.

— Стало быть, мама... у насъ у всѣхъ есть счеты съ общимъ врагомъ. Я отъ тебя ничего не скрываю. Но говорить всего... я не могу — даже и тебѣ. Ты понимаешь, почему... Прости... я должна бѣжать. Если хочешь, я приду обѣдать къ четыремъ часамъ. Прощай! Не плачь! не хорошо!

Она поцѣловала мать въ лобъ и своей легкой и твердой походкой вышла изъ комнаты.

Марья Ивановна бросилась на кровать, лицомъ въ подушку.

IV.

Зала — длинная, съ голыми стѣнами, не ярко освѣщенная — стала уже наполняться. Въ переднихъ рядахъ — гнутые стулья, а сзади и вдоль стѣнъ — скамьи съ высокими спинками. Между послѣдними рядами скамеекъ и входной дверью — порядочное свободное пространство.

Въ обширныхъ сѣняхъ стоятъ группами, приходятъ, снимаютъ верхнее платье, громко говорятъ. Преобладаетъ молодежь: студенты, техники, гимназисты, курсистки, женщины среднихъ лѣтъ... инья одѣты по-модному.

У входа столикъ съ „партиійной литературой“, какъ на всѣхъ такихъ собраніяхъ.

Собраніе „агитаціонное“ отъ кадетской партиі. Будутъ допущены рѣчи ораторовъ „крайнихъ лѣвыхъ“. Это всего больше интересуеть публику.

— Митя! Это ты? — окликнула студента Поѣдова его сестра Леля въ сѣняхъ.

Онъ только что вошелъ и стоялъ еще съ фуражкой на головѣ, въ пальто со свѣтлыми пуговицами.

— Я... какъ видишь.

— Ты знаешь — мама здѣсь.

— Съ какого дня?

— Да ужъ дней пять, кажется. Она ужасно беспокоится о тебѣ. Ни въ адресномъ столѣ, ни въ университетѣ она не могла найти твоего адреса.

— Не суть важно!

— Можетъ, она и сюда попадетъ.

— Ты развѣ знала, что я здѣсь буду?

— Я сказала на всякій случай.

Студентъ щелкнулъ языкомъ.

— Зачѣмъ она сюда пріѣхала?.. Тебя первую это будетъ стѣснять.

— Какъ же быть?

— Надо ее убѣдить вернуться къ дѣду.

Имъ обоимъ этотъ пріѣздъ матери былъ крайне неприятенъ.

„Навѣрно съ матерью притащится и Знаменскій“, — подумала Елена. Но брату ничего не сказала.

— Пойди раздѣнься... Ты будешь говорить, что ли?

— Нѣтъ, не думаю. Климовъ, кажется, хочетъ выступить.

— Ты его когда видѣлъ?

— Вчера еще.

Они оба оглянулись вразъ, ища глазами

Климова. Студентъ повѣсилъ пальто и направился къ залѣ. Сестра его осталась въ сѣняхъ.

Она казалась гораздо суровѣе въ обращеніи съ матерью, но больше ее жалѣла, чѣмъ сынъ.

Это „агитаціонное“ собраніе „торжествующихъ кадетовъ“, какъ она всегда ихъ называла—само по себѣ мало ее интересовало. Ничего они ей новаго не скажутъ. Всѣ ихъ доводы и обличенія, и оправданія, и разъясненія—она слышала десятки разъ.

Пускай ихъ хорошенько раскатаютъ сегодня ораторы обѣихъ лѣвыхъ. Ей пріятно будетъ, если Климовъ добьется успѣха. Онъ теперь гораздо ближе къ ней; а братъ Митя что-то все отъ нихъ пятится къ своимъ „меньшевикамъ“, хотя и скрываетъ это наполовину.

Это ее стало огорчать,—она не хочетъ съ нимъ „принципіальной“ розни; но теперь подошло такое рѣзкое время, что надо становиться направо или налево, безъ всякихъ колебаній.

Ей даже смѣшноваты всѣ эти „агитаціонные“ вечера. Какой агитаціи ждать отъ буржуевъ, заигрывающихъ съ лѣвыми? Можетъ быть, такія „академическія“ говорильни и полезны для вербовки выборщиковъ... если выборы состоятся?

Ни она, ни ея „товарищъ“ Климовъ не

вѣрятъ ни въ выборы, ни въ Думу. Черезъ недѣлю, а то и раньше долженъ произойти взрывъ.

И тогда всѣ эти „говорильни“ очутятся въ трагикомическомъ положеніи.

Климова она „распропагандировала“ въ какихъ-нибудь три-четыре недѣли и гордится этимъ. Еще мѣсяць тому назадъ онъ поддакивалъ брату, а теперь — она это знаетъ доподлинно — онъ очутится въ дружинникахъ.

Если сегодня онъ говоритъ, такъ это потому только, что его просила одна группа рабочихъ. А у него самого нѣтъ тщеславнаго задора. Онъ говоритъ, когда нужно, а не такъ, какъ разные „наймиты“, которые развѣзжаютъ по городамъ и вездѣ повторяютъ все одно и то же.

Она вошла въ залу вслѣдъ за кучкой молодыхъ мужчинъ, одѣтыхъ увіерами. Сразу распознала она въ нихъ своихъ „товарищей“. Они стали пробираться впередъ и заняли мѣста кучкой, слѣва отъ каеэдры. На эстрадѣ уже сидѣло бюро районнаго отдѣленія.

Говорить будутъ, навѣрно, вотъ тѣ два ихъ присяжныхъ докладчика — тотъ коротенькій, круглый человѣчекъ, берущій больше своими прибаутками, а публика всегда податлива на смѣхъ; и тотъ вонъ — худой. Этотъ на какую угодно тему можетъ говорить безъ умолку — громко и раскатисто.

Кто-то изъ ея „товарищей“ прозвалъ его „лихой поддужный“—сравнилъ съ тѣмъ наѣзникомъ, который скачетъ подъ дугой рысака.

Для нея все это — „кимвалъ бряцай“ и „мѣдь звеняща“.

И все такъ вышло, какъ она предвидѣла, даже до смѣшного то самое. Предсѣдатель — видный, породистый баринъ—такъ же все запинался, когда произносилъ фразу подлиннѣе. И первымъ всталъ полненькій, короткій челоуѣчекъ и сталъ по пунктамъ защищать свою партію отъ тѣхъ обвиненій въ двойственности, которыя на нее сыплются. Пускалъ такъ же разныя шутки и вызывалъ ими смѣхъ аудиторіи.

Но въ залѣ на двѣ трети кое-кто — случайный народъ или завѣдомые сторонники партіи.

На эту же тему заговорилъ и тотъ художавый „поддужный“. Если ему повѣрять, то они имѣютъ полное право величать себя демократами. Они, видите ли, всѣ самыхъ радикальныхъ принциповъ. Но имъ нужна новѣйшая кличка — русскій переводъ прежней, слишкомъ иностранной.

Ея братъ ушелъ на другую сторону залы. Онъ долго искалъ глазами Климова. Навѣрно, онъ будетъ говорить. И навѣрно будетъ призывать къ вооруженному возстанію.

„Но зачѣмъ это дѣлать?“—спрашивалъ Дмитрій, поглядывая все назадъ, на дверь.

То, что ему сообщила сестра насчетъ матери, совсѣмъ выскочило у него изъ головы.

Теперь она знаетъ, что онъ цѣлъ и невредимъ — чего же больше? И онъ знаетъ, что она въ такой-то гостиницѣ. Онъ къ ней пойдетъ завтра и будетъ ее упрашивать вернуться въ деревню.

Если за кого изъ нихъ двоихъ ей волноваться, то это за сестру Лелю, а не за него.

Уѣхать отсюда въ такіе дни — „подло“, а то бы онъ уѣхалъ, разумѣется, но не къ нимъ въ усадьбу. Тамъ его скорѣе „сцапаютъ“.

Все, что говорилось на эстрадѣ — онъ пропускалъ мимо ушей. Его „кадеты“ уже больше не раздражаютъ, какъ сестру его. Пускай говорятъ, что хотятъ. Но и травить ихъ — нѣтъ большой надобности. Быть можетъ, есть между ними такіе, которые стали бы гораздо лѣвѣе, подошли бы вплотную къ той группѣ, гдѣ онъ числится. Но боятся. Имъ хочется играть роль въ Думѣ.

„И пушай ихъ!“ — выговорилъ онъ про себя.

Онъ задумался совсѣмъ о другомъ и когда поднялъ голову отъ шума аплодисментовъ; взглянулъ на эстраду. Отъ кафедры отходилъ одинъ изъ маховыхъ кадетъ, и ему сильно похлопали въ срединѣ и справа; а слѣва раздалось что-то въ родѣ шиканья.

Предсѣдатель позвонилъ и громко сказалъ:

— Слово принадлежитъ товарищу Климову.

Эта уступка пролетарскому жаргону ему не особенно понравилась.

Да, это пробирается его „товарищ“ Климовъ, съ которымъ они въ эти дни видались рѣдко, а въ послѣдній разъ крупно поговорили. Такого же рѣшительнаго объясненія не избѣжать ему и съ сестрой.

Климовъ — въ пиджакѣ и синей рубашкѣ съ косымъ воротомъ. Кажется, подстригъ немножко волосы и бороду; но лицо у него возбужденное, блѣденъ, и глаза горять.

Поднялся на эстраду не спѣша, особой походочкой, всталъ за кафедрой и оперся на лѣвый локоть, отпилъ воды, оглянулъ залу, поправилъ на лбу прядь непокорныхъ волосъ и зычнымъ голосомъ крикнулъ:

— Граждане!

И онъ сдѣлалъ уступку большинству.

Началъ говорить довольно сдержанно. Это студенту понравилось. Довольно „кликушествовать“, выкрикивать лозунги и „крылатя слова“ истерическими нотами. Надо говорить дѣло. Онъ не сталъ ругать кадетовъ по „первому абцугу“, какъ дѣлаютъ это обыкновенно ораторы крайнихъ лѣвыхъ, не стѣсняясь тѣмъ, что они у нихъ же въ гостяхъ, на ихъ митингахъ и агитаціонныхъ собраніяхъ.

Онъ сразу подошелъ къ самой сути.

— Москва охвачена порывомъ. Сдержатъ его нѣтъ силы у тѣхъ, кто все толкуетъ про

„закономѣрное“ движеніе. Довольно пустыхъ ожиданій! Пришелъ моментъ поднять стягъ.

И тутъ онъ, блѣдный и трепетный, крикнулъ, обращаясь ко всей залѣ: — Граждане! Нѣтъ другого пути, какъ перейти отъ словъ къ дѣлу!..

Слѣва одна сплоченная кучка вскочила и захопала; но въ центрѣ и правѣе, около Дмитрія и за нимъ, раздалось сильнѣйшее шипѣніе, которое пронизывали свистки. И десятки голосовъ стали кричать:

— Довольно! Это провокаторство! Долой съ кафедръ!

Въ волненіи вскочилъ и Димитрій.

V.

— Митя! Митя!

Онъ быстро обернулся. Къ нему бросилась мать.

— Наконецъ-то! Господи!

Марья Ивановна обняла сына, не стѣснясь тѣмъ, что около нихъ толпился народъ, разбирая свое верхнее платье.

— Мама... я узналъ, что ты пріѣхала, только — отъ сестры.

— Отчего же прямо не пришелъ?

— Не зналъ, гдѣ ты остановилась.

— Да вѣдь я всегда въ той же гостиницѣ.
Ахъ Митя! Митя!

Она покачала головой, со слезами на глазахъ.

— Прости... Теперь такое время. Видишь, цѣль и невредимъ!

Онъ принужденно улыбнулся.

— Выйдемъ... Поѣдемъ ко мнѣ... Ты свободенъ? А Леля здѣсь?

— Какъ же... Я съ ней говорилъ до начала.
Они оба стали осматриваться.

— Нѣтъ ея. Вотъ бы оба у меня чаю напились.

— Видишь, мама, — заговорилъ онъ тревожнѣе, отведя ее въ уголъ... Миѣ надо непременно быть въ одномъ мѣстѣ. Обязательно, — выговорилъ онъ съ удареніемъ.

— Да вѣдь теперь уже поздно?

— Какое! Тамъ часовъ не наблюдаютъ.

— Въ организаци какой-нибудь? — шопотомъ спросила Марья Ивановна.

— Долго рассказывать... А завтра я свободенъ хоть съ утра.

— Приходи завтракать. Я вѣдь только для васъ здѣсь... ты знаешь...

— Мама! Тамъ, въ деревнѣ, при дѣдѣ, ты нужнѣе...

— Ахъ, Митя!

Она боялась расплакаться.

— Сестра удалилась.

— Ты, можетъ, съ ней же будешь тамъ, на вашей сходкѣ? — спросила мать, когда они были уже на улицѣ.

— Вѣроятно. Позвать тебѣ извозчика?

Онъ усадилъ ее въ сани и крикнулъ вслѣдъ:

— Завтра... непременно, къ двѣнадцати.

И пошелъ по тротуару, вслѣдъ за вереницей публики, возвращавшейся съ собранія.

Климова онъ видѣлъ въ сѣняхъ; но намѣренно не подошелъ къ нему. Не хотѣлось

говорить пошлостей, хвалить его за рѣчь, хотя она и удалась ему больше, чѣмъ многое, что онъ произносилъ въ его присутствіи.

На томъ сборищѣ, куда онъ долженъ попасть, Климовъ, навѣрно, будетъ. Явится туда, вѣроятно, и сестра.

Не быть тамъ — неловко. А если придется принимать участіе въ голосованіи резолюцій — можно ли ему будетъ уклониться. Да онъ и не хочетъ.

Это будетъ поводъ высказаться категорически. И чѣмъ скорѣе, — тѣмъ лучше.

Время не ждетъ. Еще нѣсколько дней — и Москва дрогнетъ. Въ одну ночь могутъ, какъ грибы, вырасти нѣсколько баррикадъ.

И грянетъ пушка. Будь онъ на мѣстѣ Климова, онъ не сталъ бы выступать у „кадетовъ“. Къ чему это, когда прекрасно знаешь, что возстаніе должно произойти? Только одинъ ненужный партійный задоръ. Получилъ окрикъ отъ большинства слушателей! Что и слѣдовало ожидать!

И когда онъ вышелъ на Арбатскую площадь, ему вдругъ такъ не захотѣлось быть на томъ сборищѣ, что онъ даже остановился съ вопросомъ: идти ли ему туда? Не лучше ли отправляться прямо домой, на квартиру товарища, у котораго проживаетъ теперь, по пріѣздѣ изъ провинціи?

Но товарищу нездоровится, и онъ, навѣрно,

дома. Они съ нимъ официально одной „платформы“, но между ними такъ же проползло нѣчто... Тотъ еще три мѣсяца назадъ былъ заядлый „меньшевикъ“, а теперь постоянно водится съ „большевиками“, и если бъ онъ былъ вотъ сейчасъ на собраніи, онъ бы страшно захопалъ Климову.

Онъ все еще стоялъ въ нерѣшительности противъ трактира „Прага“ и подумалъ даже: не зайти ли туда, спросить бутылку пива и чего-нибудь закусить?

Его сзади кто-то негромко окликнулъ:

— Дмитрій Сергѣичъ!

Онъ тревожно обернулся.

Это былъ приватъ-доцентъ Знаменскій.

Дмитрій съ нимъ мало разговаривалъ, но зналъ, что этотъ „академическій резонеръ“ по уши влюбленъ въ его сестру Лелю. Онъ ему скорѣе нравился; но так имъ сестра ни въ жизнь не увлечется.

— Откуда и куда, Петръ Петровичъ?— спросилъ онъ Знаменскаго съ усмѣшкой.

— Такая досада! я долженъ былъ непременно быть на собраніи, куда собирались Елена Сергѣевна и матушка ваша. И задержала одна глупая исторія, которую не стоитъ рассказывать. Приѣзжаю— все уже заперто. Я пошелъ пѣшкомъ— и вотъ такая встрѣча.

Знаменскій смотрѣлъ на студента своими добрыми глазами и все еще держалъ его руку въ своей.

— И я оттуда.

— Видѣлись съ Марьей Ивановной? Мы васъ искали. Она такъ безпокоилась.

— Я ее успокоилъ. Завтра у ней завтракаю.

— Какъ это хорошо! И меня она просила. Можетъ, и Елена Сергѣевна пожалуетъ?

— Не знаю. Леля—вѣдь вы знаете—всегда сама по себѣ.

— Это точно!

Они оба разсмѣялись.

— Мнѣ особенно было пріятно столкнуться съ вами, Дмитрій Сергѣичъ. Видите, и судьба намъ благопріятствуетъ.

Онъ головой указаль на электрическіе шары ресторана.

— Въ Москвѣ вѣдь нельзя избѣжать трактирнаго заведенія! Не зайдемъ ли?

Студентъ тотчасъ же согласился. Это былъ предлогъ не итти туда, на собраніе.

Они перешли черезъ улицу, въ эти часы уже пустую.

Внизу швейцаръ, съ поклономъ, снялъ съ нихъ верхнее платье, и они поднимались подъ звуки „машины“.

Сѣли они въ проходной залѣ, гдѣ уставлены столы за трельяжемъ. Знаменскій пожелаль было играть роль угощателя, но студентъ не допустилъ. Они спросили пива и чего-то закусить — недорогого.

— Дмитрій Сергѣичъ,— говорилъ Знаменскій, почти стыдливо взглянувъ на студента,—

мнѣ какъ-то все не удавалось поговорить съ вами... что называется...

— По душамъ? — подсказалъ Дмитрій.

— Именно! Я надѣюсь, между нами не лежитъ никакой пропасти.

Студентъ прищурился на него.

— Не умѣю какъ вамъ сказать.

— Ваше сгедо я зняю. Вы — эсь-де, на нынѣшнемъ жаргонѣ. Но вѣдь въ вашей партіи произошелъ расколъ... не со вчерашняго дня... и если я не ошибаюсь... вы то, что называется — „меньшевикъ“?

Вмѣсто отвѣта Дмитрій кивнулъ головой.

Тонъ у доцента былъ такой, что человѣку со стороны показалось бы, что это скромный студентъ обращается къ профессору.

— И вотъ теперь... мы наканунѣ взрыва. — Знаменскій сталъ говорить гораздо тише, хотя кругомъ никого не было. — Онъ неизбеженъ. Сторонники активной пропаганды рвутся. Имъ надо побѣдить или пасть.

Голосъ его сталъ нервно вздрагивать.

„Какъ боится за Лелю“! — подумалъ студентъ и ему сдѣлалось жалко этого смертельно влюбленного „доцентика“, — вообще хорошаго человѣка, — но и только.

И онъ, безъ всякихъ подходовъ, подавшись впередъ, спросилъ:

— Вы трепещете за сестру?

Знаменскій весь вспыхнулъ.

— Да, трепещу, Дмитрій Сергѣичъ! Это

слово вѣрно выражаетъ то, что я чувствую. Елена Сергѣевна идетъ на явную гибель. И позвольте мнѣ такъ же прямо спросить васъ... разъ вы меньшевикъ... Неужели и сторонники вашей фракціи... будутъ вовлечены въ это?

Голосъ его оборвался. И добрые, ласковые глаза его боязливо глядѣли на студента, точно ждали отъ него приговора.

— Большинство... будетъ, — какъ бы нехотя вымолвилъ студентъ.

— И очутится въ дружинникахъ?

Наклоненіемъ головы Дмитрій опять сказалъ „да“ на вопросъ своего собесѣдника.

Ему этотъ Петръ Петровичъ дѣлался все симпатичнѣе, и ему вдругъ страстно захотѣлось излиться передъ нимъ.

— Вы задѣли... самую чувствительную струну, Петръ Петровичъ, — заговорилъ онъ взволнованно... — Передъ вами въ настоящій моментъ — индивидъ, въ состояніи усиленнаго внутренняго раздвоенія.

— Да? — тепло и почти обрадованно воскликнулъ Знаменскій.

— Да! Вотъ я, какъ разъ теперь, долженъ былъ присутствовать на одной сходкѣ... И не пошелъ... потому что я тамъ выступилъ бы рѣшительно противъ революціонной затѣи.

— Затѣи, — повторилъ Знаменскій, точно про себя.

— Даже если бъ и получился сравнительный успѣхъ — все равно. Это нарушаетъ всю

нашу основную, принципиальную тактику. Развѣ нашъ лидеръ не тысячу разъ правъ?— тише спросилъ онъ, подавшись опять впередъ.— А большевики уже заражены... въ томъ числѣ и сестра, какъ вамъ, вѣроятно, не безызвѣстно.

Откинувшись на спинку стула, онъ отпилъ изъ своего стакана и спросилъ порывисто:

— И почему это такъ всегда бываетъ, что въ рѣшительный моментъ — верхъ берутъ...

— Якобинцы? — подсказалъ Знаменскій.

— Именно!

— Да... Такъ было и въ дни террора... Такъ было и въ дни паденія парижской коммуны.

Дмитрій вдругъ вспомнилъ, что ему разъ въ деревнѣ точно такъ же говорила сестра.

— Да, да! Тысячу разъ вѣрно! Что-то роковое, фатальное!..

Онъ не закончилъ и опустилъ голову на ладонь правой руки.

Оба смолкли.

— Дмитрій Сергѣичъ... голубчикъ... Неужели мы не воздержимъ Елены Сергѣевны? Что нужно для этого? Я на все готовъ. Говорите... Вы въ движеніи... Вы ея братъ.

— Какъ же ее спасти? Ха-ха! Развѣ она способна измѣнить своей платформѣ? Въ ней вотъ и сидитъ якобинскій духъ... Они называютъ себя социалистами. Но это невѣрно! Они только революціонеры. И какіе! Вы

знаете... на чисто французскій фасонъ,—бланкис-ты! И ежели я или другой кто откажет-ся выходить на улицу съ винтовкой—они объявятъ насъ предателями.

Они опять смолкли. Въ сосѣдней залѣ загу-дѣла машина на мотивы изъ „Гейши“.

VI.

По свѣжему снѣгу подвезъ извозчикъ Знаменскаго къ неизвѣстнымъ ему каменнымъ хоромамъ, за роскошной рѣшеткой, во дворъ.

Это были не барскіе, а чисто купеческіе хоромы, въ самомъ новомъ стилѣ, построенные ихъ хозяиномъ не больше четырехъ лѣтъ назадъ.

Улица была ему очень знакома, но этотъ именно домъ онъ никогда не замѣчалъ, хотя домъ приходится неподалеку отъ той исторической церкви, гдѣ вѣнчался Пушкинъ.

Агитаціонное собраніе назначено было отъ „районнаго комитета“ въ восемь вечера. Но къ великолѣпному подъѣзду никто что-то не подходилъ и не подъѣзжалъ, а было уже пятьдесятъ минутъ восьмого.

Онъ упрекнулъ себя въ разсѣянности, — вѣроятно ему показалась одна цифра вмѣсто другой на повѣсткѣ? Отъ этой разсѣян-

ности онъ постоянно страдалъ, забывалъ дома конспекты лекцій и замѣтки, „до зарѣзу“ нужные ему, часто опаздывалъ или являлся слишкомъ рано и ставилъ и себя и хозяевъ въ глупое положеніе.

Вотъ такъ же и въ этотъ разъ.

Сюда онъ пріѣхалъ по приглашенію распорядителя районнаго бюро, его пріятеля — доктора, который обѣщалъ ему „интереснѣйшій“ докладъ одного пріѣзжаго петербуржца и горячія пренія.

— И самое мѣсто-то, батенька, достойно интереса! Въ купеческой семьѣ,—фабриканты пунцоваго товара, разумѣется, миллионщики, и вотъ видите — „агитаціонный“ вечеръ на самыя радикальныя темы. И будетъ много мелкаго торговаго люда, сидѣльцы, артельщики — въ раззолоченныхъ - то чертогахъ! Дѣти — два студента, очень сознательные парни, и дочь — курсистка. И зять изъ интеллигенціи.

Онъ надѣялся встрѣтиться съ Еленой Побѣдовой. Къ матери она завтракать не пришла. Вотъ уже цѣлыхъ трое сутокъ, какъ онъ не видалъ ее. Они съ Марьей Ивановной вчера всплакнули. Вихрь грядущаго возстанія закружилъ ее.

Въ великолѣпныхъ сѣняхъ, съ мраморной лѣстницей, два швейцара, въ поддевахъ, сняли съ него пальто. Въ глубинѣ площадки, откуда былъ подъемъ во второй этажъ

стоялъ длинный столъ, покрытый партійной „литературой“. За столомъ сидѣлъ молодой человѣкъ. Еще двое молодыхъ людей — всѣ они были благообразны и старательно одѣты — прохаживались дальше, по широкому проходу во внутреннія комнаты.

Знаменскій подошелъ къ столу и спросилъ молодого блондина, не ошибся ли онъ, и точно ли здѣсь будетъ сегодня районное собраніе.

— Такъ точно.

Тонъ у молодого человѣка отзывался чѣмъ-то неуловимо-купеческимъ.

— А какъ же никого нѣтъ?

— Въ половинѣ девятаго. Раньше, какъ къ девяти, не соберутся.

Онъ показалъ свою повѣстку, гдѣ стояла цифра 8.

— Извините, пожалуйста. Это тамъ, въ бюро напутали.

Подошли и двое другихъ.

Одинъ изъ нихъ, помоложе, выдвинулся впередъ и поклонился Знаменскому.

— Петръ Петровичъ? — почтительно и ласково спросилъ онъ.

— Да, это я.

— Вы меня не узнали, а я былъ вашъ слушатель въ прошломъ году... даже порывался работать у васъ, да заболѣлъ.

— Ваша фамилія?

— Пустошкинъ. Сынъ хозяина этого дома.

А это мой братъ, — указаль онъ рукой на блондина. — Онъ — юристь.

Произошло рукопожатіе.

Пріятель не обманулъ его. Домъ фабриканта краснаго товара — дѣйствительно оказывался весьма „сознательнымъ“. Молодые люди еще разъ извинились передъ нимъ и, до появленія первыхъ посѣтителей, старались „занимать“ его.

Они сообщили ему разныя подробности о ихъ районѣ, гдѣ „кадеты“ до сихъ поръ еще не имѣли вліянія, а теперь „забирають силу“, и „средній обыватель“ начинаетъ похаживать на агитаціонные вечера, и безпартійные, и изъ „распропагандированныхъ“ рабочихъ.

Сегодня эсъ-деки и эсъ-эры врядъ ли пришлють своихъ ораторовъ. Но будутъ, навѣрно, говорить многіе изъ болѣе сѣрой публики. И женскій полъ долженъ явиться въ достаточномъ количествѣ.

Къ половинѣ девятаго публика начала сильно прибывать. Знаменскій сѣлъ въ сторонѣ, у входа въ столовую, гдѣ должно было происходить засѣданіе. Она отдѣлана въ старонѣмецкомъ вкусѣ, вся въ рѣзномъ старомъ дубѣ, съ монументальнымъ шкапомъ позади стола, гдѣ будетъ засѣдать бюро.

Пріѣхали и его члены, въ томъ числѣ его пріятель-докторъ, какъ всегда—запыхавшійся и юркій. Не мало явилось и дамъ. Онъ на-

считалъ и много пиджаковъ въ косовороткахъ и въ высокихъ сапогахъ.

Агитаціонный вечеръ шелъ обычнымъ ходомъ. Знаменскій сѣлъ въ заднихъ рядахъ, гдѣ преобладалъ обыватель посѣрѣе — приказчики и мастеровые. Интеллигенты сидѣли больше впереди и по боковымъ мѣстамъ.

Сначала была внушительная рѣчь председателя.

Ее онъ слушалъ въ полъуха. Милѣйшій „кадетъ“ былъ всегда заряженъ хорошими словами и обреченъ на произнесеніе ихъ по два раза въ день — въ комитетахъ и собраніяхъ.

Онъ все оглядывался на проходъ изъ сѣней — не войдетъ ли Елена Побѣдова, хотя давно рѣшилъ про себя, что она не будетъ.

Она, навѣрно, на какой-нибудь революціонной сходкѣ, гдѣ обсуждаютъ планы возстанія и распредѣленіе ролей. Будутъ, конечно, намѣчены и перевязочные пункты. Она будетъ завѣдывать однимъ изъ нихъ, хоть она и не медичка, но сумѣетъ распорядиться: воля у ней могучая. А то очутится и съ винтовкой черезъ плечо на одной изъ баррикадъ.

На него глядѣлъ сверху штучный потолокъ, и съ боковъ шла обшивка изъ темнаго дуба. А въ глубинѣ монументальный шкафъ

возвышался, точно алтарь. И вся эта столовая похожа была на средневековую капеллу.

И вотъ до какого момента дожили потомки тѣхъ самыхъ купцовъ, которыхъ обрекъ на безсмертіе авторъ „Свои люди сочтемся“. У нихъ—не прежніе обывательскіе дома со смѣшными „бельведерами“, а стильныя палаты. У нихъ не поминальные обѣды съ блинами и киселемъ и десятипудовыми купчихами въ головкахъ, а либеральные митинги, мѣсто агитаціонныхъ собраній. И это сдѣлалось въ какую-нибудь четверть вѣка. Одинъ изъ „сынковъ“, его слушатель—естественникъ, а другой—юристъ. И они не боятся приглашать сюда своихъ рабочихъ, приказчиковъ и артельщиковъ, которые могутъ заслушаться здѣсь, особенно отъ ораторовъ со стороны, прямо „разрывныхъ“ воззваній противъ „буржуя“ и „эксплоататора“.

Раздались рукоплесканія. Къ столу подошелъ пріѣзжій изъ Петербурга членъ. Знаменскій его никогда не видалъ; но зналъ по репутации. Это—одинъ изъ „лидеровъ“. Взялъ онъ сразу очень высокій діапазонъ и началъ пускать отдѣльныя громкія тирады съ напряженіемъ голоса, и безпрестанно дѣлая жесты по воздуху правой рукой, откидывая при этомъ голову назадъ привычнымъ движеніемъ.

Онъ защищалъ свою партію отъ нападокъ

„крайнихъ лѣвыхъ“. Всѣ эти доводы Знаменскій слыхалъ много разъ и почти въ тѣхъ же вариантахъ. Съ ними онъ лично согласенъ; но съ каждымъ днемъ все больше и больше убѣждается въ томъ, что они не разубѣдятъ не одинаго „лѣваго“. И будь здѣсь не только Елена, но и „меньшевикъ“ — братъ ея, они нашли бы что возразить и такому авторитету „буржуйной“ партіи.

Петербургскому оратору сильно похлопали въ переднихъ рядахъ, когда онъ закончилъ эффектнымъ призывомъ къ борьбѣ противъ „общаго всѣмъ врага“.

Предсѣдатель объявилъ перерывъ въ десять минутъ. Много народу вышло въ сѣни покурить.

— Какъ вамъ понравилось? — спросилъ его хозяйскій сынъ, тотъ, что отрекомендовался его бывшимъ слушателемъ.

— Сильно. Но убѣдительно ли — не знаю.

— Будутъ возраженія отъ эсъ-дековъ, если не отъ эсъ-эровъ, — вполголоса выговорилъ блондинъ. И указывая головой вбокъ, онъ спросилъ: — Вы не знаете того господина? Вонъ тамъ, у лѣстницы, небольшого роста, рыжеватый, въ темно-сѣрой парѣ?

— Кто это?

— Фабрикантъ. Нѣмецъ по отцу... Но мать изъ закоренѣлыхъ старообрядокъ.

— И какой партіи?

— Самый заядлый эсъ-дѣкъ.

— Быть не можетъ!

— Честной челоѡкъ! Мать, говорятъ, разошлась съ нимъ на-дняхъ... переѡхала на квартиру изъ собственнаго дома.

— Убѡжденный?

— И какъ еще!

— А такихъ... въ вашей средѡ много?

— Ну, врядъ ли. Кадеты водятся, и въ довольномъ количествѡ. А больше „17-го октября“ и эти еще... три покоя, а кто называетъ три висѡлицы.

Знаменскій взглянулъ вопросительно.

— Ха-ха! Какъ же назвать? Вѡдь три покоя — партія правового порядка. Родныя сестры съ нашей коренной купеческой партией — торгово-промышленной. Но знаете, профессоръ, мы съ братомъ и сестрой такъ полагаемъ, что когда дѡло дойдетъ до выборовъ въ Думу — всѡ эти партіи окажутся при самомъ пиковомъ интересѡ. Москва пошлетъ только кадетовъ! Помните мое слово.

Раздался звонокъ.

— Пожалуйте... Кажется онъ, — блондинъ опять указалъ головой на коренастаго мужчину въ темносѡрой парѡ, — сейчасъ выступить. Для васъ будетъ особенно занятно, Петръ Петровичъ!

Начались пренія

Послѡ двухъ какихъ-то господъ изъ интеллигенціи, плоховато говорившихъ — протянулась минута молчанія, и председатель, громко

и съ замѣтнымъ подчеркиваніемъ, проговорилъ:

— Слово принадлежитъ Петру Ѳедоровичу Шульцу.

Глаза Знаменскаго обратились тотчасъ же къ тому углу стола, откуда говорили ораторы.

Да, это онъ — тотъ коренастый, рыжеватый фабрикантъ, на котораго указаль ему хозяйскій сынъ.

Подошелъ къ столу замедленнымъ шагомъ, лицо спокойное, свѣжее, бритое, съ усами, похожъ скорѣе на офицера въ штатскомъ, а не на фабриканта, да еще сына заядлой старовѣрки.

И заговорилъ такъ же спокойно, медленно, глуховатымъ баскомъ, безъ жестовъ рукъ и головы. Руки сложилъ на груди и долго такъ держалъ ихъ.

Хозяйскій сынъ не ошибся въ его платформѣ: это „эс-декъ“ чистѣйшей воды.

Онъ обратился не къ „лидерамъ“—этимъ заправиламъ общественнаго мнѣнія, а къ своему брату—купцу и, въ особенности, фабриканту—и сталъ ихъ увѣщевать.

— Не будьте слѣпы,—горячѣе закончилъ онъ свою рѣчь,—не прячьте головы въ песокъ, какъ неразумная птица страусъ, а глядите грозѣ въ лицо, ждите ее! Она разразится, если вы не поймете, что время рабовладѣльцевъ и рабовъ капитала прошло!

Признайте за пролетаріемъ право на орудія
производства, сознайте то, что безъ ихъ ра-
боты — вы ничто! Превратитесь изъ трутней
въ настоящихъ пчелъ общественнаго улья!

Въ заднихъ рядахъ сначала замѣтно было
какое-то ожиданіе, а потомъ всѣ эти пиджаки
и косоворотки стремительно захлопали.

VII.

Стоитъ мгла отъ Иверскихъ воротъ до „Трухмальныхъ“ и дальше. Съ седьмого часа по улицамъ — никакой ѣзды. На всѣхъ углахъ темнѣютъ фигуры городскихъ съ ружьями и солдатъ, по-трое, по-четверо.

Со стороны бульваровъ и внизъ по Тверской, отъ Тверскихъ воротъ, чаще раздаются выстрѣлы изъ револьверовъ, точно хлопаютъ хлопушками — и ружейная дробь „пачками“.

„Трахъ — тахъ — тахъ — тарарахъ!“

И опять все смолкаетъ. Ни одного ваньки, ни одного смѣльчака. Чуть что-нибудь задвигается по тротуару — раздается окрикъ, а тамъ и пальба. Въ домахъ рѣдкіе окна освѣщены. Въ той гостиницѣ, гдѣ остановилась Марья Ивановна Побѣдова, свое собственное электричество. Этотъ свѣтъ не нравится ни полиціи, ни солдатамъ, ни дружинникамъ. Войска боятся какихъ-нибудь сиг-

...; дружинки вѣтъ въ этомъ протестѣ хозяевъ противъ забастовки электрическихъ заводовъ.

По Садовой, на поперечной улицѣ, ведущей къ Грузинамъ, какъ только спустилась мгла, началось движеніе.

Справа и слѣва, снизу и сверху, поползли человѣческія фигуры—мужчины и женщины—чуйки, пиджаки, тулупы, гимназическія и студенческія фуражки и особаго вида молодцы—въ короткихъ пальто, съ винтовками черезъ плечо.

И всѣ что-нибудь тащили: ящики, кадки, ворота, чугунныя и деревянныя рѣшетки... старыя пошевни, бревна.

Всѣ фонарные столбы были уже выворочены. И все это—быстро, по чьему-то молчаливому велѣнью—нагромождалось, сначала на аршинъ отъ земли, потомъ на два и больше.

Вдоль домовъ, справа и слѣва—оставляли узкіе проходцы. Отъ одного края до другого протягивали проволоку.

Точно муравьи копошились всѣ эти, неизвѣстно откуда набѣжавшіе, воздвигатели баррикадъ.

Раздавались оклики, кто-то приказывалъ, кто-то торопилъ, шли непрерывные разговоры, но шума не было. И это въ нѣсколькихъ стахъ саженьяхъ отъ полиціи и воинскихъ командъ. И всѣ эти муравьи уличной

войны знали, что завтра выставят пушки и разнесут их сооружения.

— Баста! раздался чей-то болѣе властный молодой голосъ. И наверху всплыла тонкая мужская фигура, въ высокой бараньей шапкѣ. — Довольно, товарищи! Теперь обливайте! И духомъ! А то они нагрянутъ!

Ташать ушатъ воды и сверху льютъ ее на баррикаду. Раздается смѣхъ, слышны веселые женскіе голоса.

Вода жужжить и ждетъ той минуты, когда морозъ скуетъ все въ одну ледяную массу.

По тому же переулку, но книзу, недалеко отъ бульвара, по тротуару беззвучно пробирались двѣ фигуры.

Одна — мужская, другая — женская. Они шли рядомъ, бойкимъ дробнымъ шагомъ. Женщина была почти такого же роста, какъ и ея спутникъ, въ мѣховой шапочкѣ мужского покроя, съ короткой юбкой. Ея ботинки издавали по промерзшему снѣгу легкій дробный звукъ.

Мужчина былъ одѣтъ въ тулупчикъ; за поясомъ торчалъ револьверъ. Большіе сапоги немножко скрипѣли; барашковая шапка сидѣла набекрень.

Сначала они молчали, должно быть, по уговору, и только оглядывались. Городовыхъ тутъ не было. Начальство, точно нарочно, выжидало, какъ за ночь вырастутъ опять,

какъ грибы, стѣны изъ обывательскаго добра, превратившагося въ ледяныя глыбы.

Шаговъ за двадцать до угла бульвара женщина остановилась первая и спросила вполголоса:

— Вправо или влево?

Мужчина отвѣтилъ:

— Основательнѣе вправо. Если удастся перебѣжать бульваръ благополучно, то тамъ переулками, скорѣе доберемся, вплоть до самой гостиницы.

— А если насъ съ параднаго не пустятъ? Вѣдь тамъ, на перекресткѣ, усиленные патрули?

— Не суть важно! Съ задняго проберемся. Съ того переулка, гдѣ тряпичный рядъ.

Это были Климовъ и Елена Побѣдова.

Они распоряжались постройкой баррикадъ, и когда все было готово, Елена предложила Климову проводить ее въ гостиницу, гдѣ жила Марья Ивановна.

Онъ сейчасъ же согласился. Къ этой барышнѣ у него зарождалось особое влеченіе.

Утромъ, сегодня, Елена получила съ посыльнымъ изъ отеля записку отъ матери. Та слегла и умоляла навѣстить ее — до шести часовъ вечера.

„Ни подъ какимъ видомъ, Леля, не выходи послѣ шести. Заклинаю тебя Христомъ Богомъ! Не дай ты мнѣ умереть съ тяжкимъ

грѣхомъ на душѣ, если тебя подстрѣлятъ на улицѣ“.

Елена только усмѣхнулась и сказала посылному:

— Передайте, что все будетъ исполнено.

Но она ничего этого не исполнила. Себѣ она уже больше не принадлежитъ. Надо служить „великому“ дѣлу народнаго возстанія. А ей порученъ цѣлый районъ. Она съ утра побывала въ нѣсколькихъ частяхъ города, навѣщала перевязочные пункты, участвовала на трехъ сходкахъ, на двухъ фабрикахъ, тамъ, въ сторонѣ Прѣсни, гдѣ завтра, много— послѣ завтра будетъ рѣшаться судьба возстанія.

Не взвидѣлась она, какъ уже стемнѣло. Она не позадумалась бы пробраться къ гостиницѣ. Но пришелъ „приказъ“ строить баррикаду тамъ, за Тверскимъ бульваромъ, и она съ Климовымъ были главными делегатами.

И вотъ они тамъ съ десяти часовъ, а раньше надо было побывать еще въ одной революціонной квартирѣ.

— Климовъ!— сказала Елена, когда они перебѣжали бульваръ, — вы нужнѣе меня. Когда мы доберемся до того переулка... сбоку гостиницы— не рискуйте дальше. Я сумѣю найти ходъ.

Онъ остановился и протянулъ ей руку.

— Елена Сергѣевна, — заговорилъ онъ,

охваченный внезапнымъ волненіемъ,—неужели я могу это сдѣлать? Долгъ нашъ — служить дѣлу. Но вы такая... госпожа съ такой душой, что я не могу васъ нигдѣ оставить... слышите: нигдѣ!

Голосъ его дрогнулъ.

— Спасибо! Только все-таки со мной не входите. Да васъ и не пустятъ съ вашимъ браунингомъ.

Оба тихо размѣялись.

Начался лабиринтъ переулковъ.

Климовъ зналъ Москву, но не очень. Елена много ходила по ней... и всегда пѣшкомъ. Она была тверда въ томъ, какого направленія имъ держаться,—сначала слѣва къ праву, а потомъ, съ извѣстнаго пункта, забирать лѣвѣе, по направленію къ концу Тверской, къ Воскресенскимъ воротамъ.

Было совсѣмъ пусто по переулкамъ; но на перекресткахъ могли попадаться городовые съ винтовками.

На полпути они умышленно кружились все на одномъ и томъ же мѣстѣ. А потомъ и Елена сбилась. Одинъ изъ „кривыхъ“ переулковъ завелъ ихъ слишкомъ далеко вправо, и они рисковали выйти на другой бульваръ, гдѣ навѣрняка наткнутся на патруль.

Шель уже второй часъ ночи.

Они приближались къ цѣли. Еще два поворота, и они — поблизости къ тому „прау-

лочку“, откуда можно проскользнуть къ гостиницѣ.

Правда, тамъ въ двухъ шагахъ, на углу Охотнаго — и городовые, и патрули; но туда они не покажутся.

Имъ стало, на особый ладъ, весело. Елена спросила спутника, когда они уже подходили къ Моховой, черезъ которую надо было „проскользнуть“.

— Климовъ! Вѣрите вы въ успѣхъ возстанія?

Онъ сначала промолчалъ.

— Ежели солдаты не передадутся на нашу сторону—по истинной правдѣ сказать—плохо вѣрю.

— А я вѣрю.

— Въ побѣду?

— Насъ побьютъ, на этотъ разъ; но наша попытка всколыхнетъ всю Россію.

— Обыватели не простятъ.

— Однако, посмотрите... Всѣ намъ помогаютъ, даже дворники!

И она нервно размѣялась.

— А потомъ, послѣ разгрома—опять бухъ въ гнилое болото.

— Вы ли это говорите, Климовъ!

— Я, собственной персоной, Елена Сергѣвна. Но видите, я вошелъ въ это дѣло сознательно. Другого ходу не было! И, въ коннѣ-концовъ—вы правы! Мы будемъ на щитѣ,—не мы, такъ наши преемники. Когда-то

царь Константинъ увидаль на небѣ крестъ съ словами: „Симъ побѣдиши!“ Такъ точно и мы! И мы несемъ свой крестъ!

Онъ смолкъ, не совладавъ съ нахлынувшимъ чувствомъ.

Она нагнула голову, закусила губы, по своей привычкѣ, помолчала, потомъ выпрямилась и крикнула:

— Смѣлымъ Богъ владѣеть! А нашъ Богъ—самый правый!

Они уже перебѣгали Моховую, около манежа, какъ вдругъ раздался откуда-то окликъ:

Никто изъ нихъ ничего не отвѣтилъ.

И разомъ затрещалъ зарядъ нѣсколькихъ винтовокъ.

Но они попятились въ углубленіе воротъ. Ихъ трудно было разглядѣть въ немъ. Послѣ выстрѣловъ погони не было.

Они переждали минуту и, держась той же стороны, пробрались—въ совершенной темнотѣ—и завернули влѣво.

— Мама! Это я! Отопри!

Елена стучала въ дверь номера. Марья Ивановна лежала въ кровати, въ жару, но не спала.

Ее точно ударилъ электрическій токъ. Она радостно крикнула и бросилась къ двери.

— Леля! Ты? Ты? Какъ ты добралась? Господи!

И вдругъ она такъ ослабла, что зашата-

лась. Дочь ввела ее за перегородку и усадила.

— Расскажи, какъ ты...

— Молчи, мама! Завтра все расскажу! А теперь спи. И я тутъ пристроюсь на кушеткѣ.

— А завтра опять? Опять, Леля?!

Дочь ничего не отвѣтила.

VIII.

Дмитрій Побѣдовъ зашелъ днемъ въ зданіе консерваторіи, съ того подъѣзда, гдѣ классы.

Прислуга его знаетъ. Онъ часто, въ прошломъ году, заходилъ за одной изъ выпускныхъ ученицъ, Косяковой.

Теперь она учительница; но въ консерваторію часто забѣгаетъ. И сегодня она назначила ему зайти за ней въ половинѣ двѣнадцатаго.

— Людмила Николаевна здѣсь? — спросилъ онъ у одного изъ служащихъ при вѣшалкѣ.

— Никакъ здѣсь.

— У васъ учатся?

— Какое ученье! Кое-кто есть... больше балуютъ. Обождите... я сбѣгаю.

Дмитрій сѣлъ на деревянный диванъ у лѣстницы, откуда видно и дверку въ рекреационную залу и, правѣе, дверь въ коридоръ. Оттуда Людмила всегда выбѣгала къ нему.

Съ этой дѣвушкой онъ началъ сближаться годъ назадъ.

Они скоро сошлись, но не „совсѣмъ“. Его удерживало что-то. Это не была настоящая любовь — „на жизнь и смерть“. „Людя“, — онъ такъ ее зоветъ, — доброе, милое, умненькое существо; но она — „мякушка“, такія женщины не могутъ рождать въ васъ роковую страсть.

Въ ней онъ почти сразу вызвалъ влеченіе, которымъ онъ могъ бы воспользоваться. Это было бы „подло“. А теперь — не до любви. Но все-таки здѣсь, въ Москвѣ, это единственное существо, съ которымъ ему легче, чѣмъ съ другими. Онъ ей все говоритъ, точно съ самимъ собою. Она — хоть и „профессіоналка“, обожаетъ музыку и хочетъ быть виртуозкой; но она все-таки, по-своему — „въ движеніи“. Въ консерваторіи, вотъ уже второе полугодіе, идетъ „дымъ коромысловъ“. И теперь броженіе дошло до кульминаціоннаго градуса. Все стало.

Людмила, уже съ прошлаго лѣта — вольный казакъ; но она горячо участвуетъ въ жизни того заведенія, гдѣ прошли ея отрочество и юность. Въ старшемъ классѣ у нея еще много дѣвушекъ, съ которыми она на „ты“. Одна часть — уравнившанная, желающіе только учиться; но другая — самой „краснопалительной температуры“. И начальство должно было ступеваться.

Въ революцію такое существо какъ Людя— не бросится. Но она живетъ всѣмъ тѣмъ, что его наполняетъ. Только въ этотъ прїездъ онъ медлилъ повѣрить ей всю свою подоплеку, тотъ острый кризисъ, въ какомъ онъ теперь находится, особенно съ возвращенія изъ провинціи.

Изъ коридора показалась женская фигура— небольшого роста пышная блондинка, съ взбитыми на лбу волосами, въ темномъ платьѣ въ обтяжку, которое дѣлало особенно рельефными ея красивыя дѣвическія формы.

Она подбѣжала къ нему, наклонилась надъ нимъ и шепнула:

— Я готова... Идемъ.

На людяхъ они еще стѣснялись быть на „ты“.

Служитель подаль ей короткое пальтецо и теплую шапочку. Все на ней ловко сидѣло, и вся она была такая круглая, гладкая, свѣжая, съ карими большими глазами „со слезой“; но эта слеза придавала имъ только блескъ и веселость.

Они вышли на дворъ и тамъ только на подъездѣ пожали другъ другу руку.

— Такъ ко мнѣ, Митя?— спросила она, сдѣлавъ движеніе всѣмъ бюстомъ, какъ бы желала его обнять.

— Да. У васъ здѣсь что происходитъ?

— Ждутъ— не то солдатъ, не то дружинниковъ. Ты слышалъ... въ филармоніи?

— Что такое?

— Тамъ устроили Красный Крестъ. И вдругъ нагрянула команда. Стали вездѣ шарить. А на дворъ ввезли двѣ пушки.

— Что ты говоришь!

— Мнѣ сейчасъ говорили. Прямо оттуда.

Она, выходя изъ воротъ на улицу, оглянулась вправо и влѣво. То же сдѣлалъ и онъ.

Никитская смотрѣла совершенно заурядно. Ъзды не много, но есть. И пѣшеходы идутъ по обоимъ тротуарамъ — какъ всегда; одѣтыхъ по-господски больше, чѣмъ простого народа.

— Митя! — окликнула Людмила. — Кто подумаетъ, что тамъ, на Прѣснѣ, идетъ битва?

И точно въ отвѣтъ на ея возгласъ откуда-то, по направленію къ верху, къ бульварамъ, прокатились, по морозному воздуху, два пушечныхъ залпа.

— Та же музыка... А ты...

Она не dokonчила и только вопросительно взглянула на него.

Она уже знала, что онъ „противъ“. Но у нихъ не было еще „приципiальнаго“ разговора. Она боялась, что онъ тамъ, въ деревнѣ, подпадетъ окончательно подъ вліяніе своей сестры. Съ Еленой онъ почти что не знакомы. Та повела себя съ ней какъ-то странно — сухо. Должно быть, считаетъ ее „ничевушкой“, способной только брянчать на роялѣ.

Митя ея — вотъ тутъ, около нея. Разумѣется, очутись онъ въ дружинникахъ — она бы кинулась спасать его, будь онъ раненъ. Но вотъ уже шестой день возстанія, а онъ — не тамъ. Если бъ онъ, хоть урывками, отпра-влялся „туда“ — онъ бы не скрылъ этого отъ нея.

— Мама здѣсь, — сказалъ онъ, помолчавъ, когда они сдѣлали по Никитской шаговъ сто.

— Приѣхала... для васъ?

— Да... Живетъ въ гостиницѣ.

Она знала — гдѣ. Но съ Марьей Ивановной она тоже не знакома. Онъ предлагалъ ей, еще этой осенью; но она сама уклонилась — не хотѣла его стѣснять и „затягивать“.

Людмила жила въ чисто-студенческихъ номерахъ на Воздвиженкѣ, куда они прошли по Нижней Кисловкѣ. Тамъ она провела два послѣднихъ года своего ученія въ консерва-торіи.

Онъ поднялся за ней во второй этажъ, и когда она отперла дверь и впустила его въ свой номеръ съ перегородкой, то первая обняла его и крѣпко поцѣловала два раза.

— Садись... Хочешь, я заварю кофе! У меня славный кофе, Митя! У Сіу покупаю.

Даже номеръ дешевой мебелировки умѣла она превратить въ чистенькое, почти франтоватое помѣщеніе, съ полуроялемъ въ углу, картинками и гипюрами на мебели и письменнымъ столомъ. За перегородкой стояла

ея кровать, вся обтянутая бѣлымъ чехломъ, который она состроила на свой счетъ.

Онъ сѣлъ на диванъ. Она подсѣла къ нему тотчасъ же и заглянула ему въ лицо милымъ дѣтскимъ жестомъ.

— У тебя, Митя, что-нибудь на душѣ... И ты скрываешь. Зачѣмъ?

Онъ закурилъ и не сразу отвѣтилъ.

— Ничего я не скрываю отъ тебя, Людя! Да, я все это время въ полномъ разладѣ.

— Съ кѣмъ? съ чѣмъ, милый?

— Съ чѣмъ? Съ тѣмъ, что теперь творится въ Москвѣ.

— Ты не пошелъ туда?

Она сдѣлала жестъ головой.

— Не пошелъ. Но пойми, я не могу не быть съ ними заодно!

— Сестра тебя тянетъ?

— Она уже смотритъ на меня, какъ на ренегата. Наканунѣ перваго дня возстанія у насъ вышелъ и съ ней, и съ цѣлой группой большевиковъ формальный разрывъ. Если бы я пошелъ съ ними на баррикады и на Прѣсную, я бы долженъ былъ превратиться въ якобинца. А я этого не хочу... Не хочу! — глухо крикнулъ онъ.

— И нейди!

— И даже ближайшіе мои единомышленники поддались, забывая, что они изъ фракціи социаль - демократовъ, которая смотритъ

на эту затѣю, какъ на измѣну своей платформѣ и своей тактикѣ.

— Такъ и дѣйствуй!

— Дѣйствуй! Гдѣ? въ чемъ? Коли ты не тамъ — ты предатель!

— Вздоръ какой!

— И что меня возмущаетъ — это то, что вѣдь возстаніе прикрывается флагомъ рабочаго, пролетарскаго движенія. Фабричные дерутся — несомнѣнно такіе, которые были распропагандированы нами, социаль-демократами чистой воды. А дѣло очутилось въ рукахъ якобинцевъ.

— Одинъ ли ты такъ чувствуешь и говоришь?

— Нѣтъ, не одинъ! И если „эсъ-де“ въ эти первые дни зарвались — они непременно должны отстать.

— Тѣхъ скорѣе сочтутъ отступниками, разъ они пошли въ дружины... А ты не ходилъ.

Людмила любовно заглядывала ему въ лицо. Но она чувствовала, что ея успокоенія на на него не дѣйствуютъ.

— Ты продолжаешь ходить на сходки?

— Знаешь, Людя... меня тянутъ къ себѣ... эсъ-эры.

— Не ходи къ нимъ, Митя!

— Ихъ дѣло вѣрнѣе. Я не могу примкнуть къ настоящимъ анархистамъ... Я признаю высшей цѣлью человѣческаго бытія царство

справедливости, а она безъ организациі, безъ пролетарскаго государства — осуществиться не можетъ. Но тѣ, кто меня теперь обхаживаетъ — не анархисты. Они только эсъ-эры!

— Значитъ, ультра-революціонеры? А ты сейчасъ обличалъ якобинцевъ. Развѣ это не все равно?

Она громко разсмѣялась, встала, нагнулась надъ нимъ и поцѣловала его въ голову.

— Митя! Дорогой мой! Я знаю одно — ты не тамъ, не на Прѣснѣ! И ты — чистый, честный. Если не пошелъ на то, то сдѣлалъ по совѣсти. Я не очень много смыслю во всѣхъ вашихъ платформахъ, но разъ ты „меньшевикъ“, ты уже ни въ какомъ случаѣ не можешь быть социаль-революціонеромъ. Вѣдь не всѣ же и они дерутся. Сколько теперь настоящихъ дружинниковъ съ ружьями?

— Говорятъ, тысячи двѣ есть.

— Видишь! Двѣ тысячи! А потомъ, на повѣрку, и того не окажется... А развѣ этихъ „эсъ-эровъ“ только двѣ тысячи, хотя бы и въ одной Москвѣ? Съ такой арміей куда же идти на цѣлый корпусъ?.. А солдаты не перейдутъ на ихъ сторону. Это теперь извѣстно. Да этого еще мало... Въ дружинникахъ рабочихъ навѣрно двѣ трети.

— Разумѣется!

— Стало быть, интеллигентныхъ революціонеровъ въ еще болѣе ничтожномъ числѣ?

Она стояла передъ нимъ — розовая, съ

блестящими глазами и такъ мило разводила руками, нанизывая свои доводы.

— Ахъ ты! Уравновѣшенная!..

— Что жъ! Я не обижаюсь! Только бы ты ушелъ отъ глупой, ненужной гибели.

И она стала его цѣловать въ голову.

IX.

Узкій проѣздъ тянется вдоль трехэтажнаго обывательскаго дома, отъ однихъ воротъ къ другимъ, отъ Садовой до переулка, въ сторону „Грузинъ“.

Слѣва идутъ низкіе подъѣзды и ряды оконъ. Стѣны когда-то были бѣлыя; теперь штука-турка протекла и закоптѣла.

Домъ полонъ дешевыхъ квартиръ: живутъ мелкіе служащіе, старушки-барыни, отставные военные съ семьями, разный обывательскій людъ, молодежь у съемщицъ, актеры и фигуранты изъ сосѣдняго увеселительнаго заведенія.

Направо и налѣво по Садовой баррикады разрушены, держится только одна. Пальба и бомбардировка стихли. Домъ, гдѣ аптека— весь пробить, какъ рѣшето. Всѣ садовые заборы—деревянные и чугунные—на сотни сажень выломаны. Ъзды нѣтъ; только казаки и драгуны проѣзжаютъ по самой срединѣ

улицы или пройдетъ взводъ пѣхотинцевъ какимъ-то особымъ, неестественно тихимъ шагомъ.

Смерклось. Во дворъ длиннаго дома, въ узкомъ проѣздѣ, между стѣной и рядомъ какихъ-то низкихъ построекъ, въ родѣ сарайчиковъ, взадъ и впередъ проходили, крадучись, или пробѣгали мужскія и женскія фигуры, почти исключительно молодежи, въ студенческихъ пальто, въ кафтанчикахъ и въ пиджакахъ, какіе носятъ рабочіе, въ высокихъ барашковыхъ шапкахъ. Эти были почти всѣ вооружены—кто браунингами, кто короткими винтовками.

Со стороны Садовой въѣздъ въ ворота стоялъ еще свободнымъ. Не было видно около ни патруля, ни наряда городовыхъ съ ружьями. Отъ Грузинъ изрѣдка раздавалась пальба.

Въ одной изъ квартиръ, гдѣ отдавались комнаты, во второмъ этажѣ, происходило что-то чрезвычайное.

Оттуда безпрестанно кто-нибудь выбѣгалъ и туда поднимались такъ же часто. Лѣстница была освѣщена керосиновой лампой и стояла полутемная, скользкая, съ желѣзными мерзлыми перилами.

Теперь это — перевязочный пунктъ дружинниковъ.

Второй день былъ „жаркій“. Много было принесено раненыхъ. Двое тутъ же и умерли.

День и ночь дежурятъ тутъ сестры—одна медичка, другая фельдшерица. Вчера были два врача. Одинъ не пришелъ сегодня—можетъ-быть убить.

Этимъ пунктомъ завѣдуетъ уже третій день Елена Побѣдова.

Какъ ни заклинала ее мать не ходить „туда“, она сказала ей съ дрожью въ голосъ:

— Я не могу этого сдѣлать, мама! Я себѣ не принадлежу.

И когда та горько стала плакать, она, уходя, у двери сказала ей:

— За брата тебѣ нечего бояться. Онъ не съ нами. Онъ—убѣжденный меньшевикъ. И останется живъ!

Елену тянетъ на Прѣсню, гдѣ должна рѣшиться судьба возстанія. Но она не можетъ покинуть этотъ постъ. Та дружинница, которая должна была сегодня утромъ смѣнить ее—не явилась и не прислала никакого гонца. Можетъ, она уже захвачена или убита.

Сегодня Елена особенно нервна, и это ее бѣситъ. Она должна владѣть собою, какъ образцовый членъ „боевой организаціи“, а не какъ нервная барышня.

Раненыхъ принесли только двоихъ, не опасныхъ. Ночью они надѣются ихъ переправить въ другое мѣсто.

Со стороны Грузинъ можетъ вотъ-вотъ нагрянуть команда. Ихъ засѣло тамъ, въ кон-

цѣ проѣзда, человѣкъ шесть-семь. Можно духомъ заставить ворота разнымъ обывательскимъ добромъ. Но долго ли тамъ продержись, если поставятъ пушку?

Тихо въ квартирѣ. Она состоитъ всего изъ трехъ комнатъ. Въ одной, дальней, лежатъ вчерашніе раненые. Медичка не спала всю ночь и теперь прикурнула на кушеткѣ. Фельдшерица сидѣла въ передней и подшивала бѣлье. Докторъ ушелъ въ другую квартиру, гдѣ лежалъ одинъ опасно раненый.

По всей квартирѣ ходилъ запахъ іодоформа. Дешевая лампочка скудно освѣщала ее. Были еще двѣ простыя сидѣлки. Одна дремала около раненыхъ, другая убѣжала куда-то.

Елена сидѣла въ свободной комнатѣ, гдѣ стояли три койки. Она вынула изъ кармана кофточки записную книжку и что то стала записывать, поднимая голову каждый разъ, какъ что-нибудь хотѣла вспомнить.

— Елена Сергѣевна! — вдругъ громкимъ шопотомъ окликнула ее сидѣлка.

— Что надо?

— Несутъ раненаго... На которую кровать прикажете? За докторомъ сбѣгать?

— Разумѣется. Онъ, пожалуй, замѣшкается. Разбудить надо будетъ Варвару Петровну.

— Слушаю.

То, что Елена уже испытала, не позволяло ей волноваться по-женски. Гдѣ война — тамъ

и раненные, и убитые, и безъ вѣсти пропавшіе.

И она можетъ очутиться не сегодня завтра въ такихъ „безъ вѣсти пропавшихъ“.

Она вышла неторопливо въ переднюю.

Два дружинника — одинъ въ фуражкѣ со значкомъ, другой въ картузѣ, оба перепоясанные кушаками, за которыми что-то блестѣло — ввели, почти втащили тяжело раненаго, если не убитаго.

— Климовъ! — подавила Елена свой возгласъ и бросилась къ нему.

— Да! Я... Елена Сергѣевна — вотъ къ вамъ угодилъ. Какъ славно около васъ отойти.

— Зачѣмъ? Что вы, Климовъ!.. Товарищи, положите его вонъ на первую койку справа. Осторожнѣе... Ѳедосѣева! — окликнула она въ дверь медичку. — Вставайте... опасно раненый.

Та разомъ вскочила на ноги, подбѣжала къ Климову и стала давать приказанія фельдшеру.

Оба дружинника стояли въ дверяхъ. Одинъ въ форменной фуражкѣ, сказалъ, ни къ кому не обращаясь:

— Мы должны бѣжать. Имѣйте въ виду, что васъ могутъ накрыть оттуда... сзади!

И они быстро вышли.

Раненаго перевернули. Онъ жалобно вскрикнулъ и лишился чувствъ. На груди и къ правому паху у него были одна огнестѣльная, другая, вѣроятно, штыковая рана.

— Что же докторъ? — спросила Елена у сидѣлки.

— Не нашла его тамъ. Куда-то отлучился... здѣсь же, въ домѣ. А въ которую квартиру — неизвѣстно.

Елена спросила на ухо медичку:

— Нужно ли вынимать пулю?

— Очень опасно. Сдѣлаемъ, что можно.

Какое-то неиспытанное никогда Еленой чувство проникало въ нее. Эта гибель ея „товарища“ звала ее къ тому же концу. И она должна погибнуть. Здѣсь она не останется. Она обязана быть тамъ — на Прѣснѣ.

Холодящее „все равно“ сжало ей горло. Почти механически помогала она тѣмъ женщинамъ около раненаго. Его раздѣли, привели въ себя. Онъ протянулъ руку къ Еленѣ и чуть слышно сказалъ:

— Голубушка... простите!

— За что?

— Да вотъ въ какомъ видѣ явился къ вамъ. Мнѣ — крышка! Не надо меня потрошить.

Оглянувшись на тѣхъ двухъ женщинъ, онъ сдѣлалъ жестъ рукой, точно просилъ, чтобы Елена наклонилась надъ нимъ.

Та это сдѣлала. Онъ шопотомъ сказалъ ей, прерывисто и уже хрипло:

— Не выгорить у нашихъ! Митенька нашъ былъ правъ... И на Прѣснѣ больше недѣли не продержатся... Солдаты только посулили...

Изъ-за чего же вамъ, дорогая, губить себя зря...

Еще что-то хотѣлъ онъ выговорить... Голова упала, онъ застоналъ, заметался и опять смолкъ.

Медичка стала слушать, дышитъ ли онъ.

— Ну что? — спросила Елена.

— Кажется... это конецъ... А все-таки, надо еще поискать доктора. Я сама сбѣгаю, разыщу непременно!

Елена сѣла на одну изъ свободныхъ коекъ, и первый ея вопросъ былъ:

„Куда мы дѣнемъ его тѣло?“

Оставить здѣсь — ворвутся солдаты и трупъ бросятъ въ общую яму. Унести? Но какъ? и куда?

Въ ней гвоздемъ засѣло мгновенное рѣшеніе: мертваго или еще живого, но Климова надо отсюда унести. Она встала и вышла въ ту комнату, гдѣ медичка спала передъ тѣмъ на кушеткѣ и опустилась на нее.

Не спала она больше полутора сутокъ. Дрожь усталости прошла по ней. Стало даже лихорадить. Она закрыла глаза и потянулась. Но она не должна позволить себѣ дремать.

И, кажется, все-таки она на нѣсколько минутъ забылась.

Шумъ въ передней мгновенно разбудилъ ее. Она вскочила и выбѣжала туда.

Тѣ же два дружинника, что принесли

Климова, возбужденно говорили что-то фельд-шеридь.

— Что такое?— тономъ распорядительницы остановила ихъ Елена.

— Съ обѣихъ сторонъ напираютъ солдаты. У воротъ на Садовую стоитъ взводъ драгунъ. А оттуда мы успѣемъ заложить ворота. Кажется, поставили пулеметь. Одно средство — просить пардону для раненыхъ, если солдаты ворвутся сюда.

Елена слушала, блѣдная, закусивъ нижнюю губу, а глаза ея приковала винтовка одного изъ этихъ дружинниковъ.

— Пошлите сидѣлку за Варварой Петровной, — приказала она сидѣлкѣ.

• — Барышня! Значить, смерть наша пришла! — заплакала было сидѣлка.

— Безъ хныканья! Вы при раненыхъ... Можетъ, останетесь цѣлы.

И вдругъ, обернувшись къ дружинникамъ, она почти крикнула:

— Идемъ!

— Куда? — спросилъ тотъ, что въ фуражкѣ.

— Защищать проѣздъ съ той стороны.

— Вамъ-то зачѣмъ кидаться? — сказалъ онъ съ усмѣшкой.

— Идемъ!

Ея тонъ былъ такой повелительный, что оба попятились къ двери. Она схватила съ вѣшалки свою барашковую шапочку и такъ,

какъ была, въ кофточкѣ, вышла первая на площадку. Они — за ней.

— Товарищъ!— обратилась она къ дружиннику съ винтовкой. — Отдайте мнѣ это!

— Вамъ угодно? Но какъ же...

— И патроновъ дайте. Я умѣю стрѣлять... Не беспокойтесь!

Молча спустились они съ лѣстницы, почти бѣгомъ. Въ узкомъ проѣздѣ было совсѣмъ темно. Они добѣжали до заднихъ воротъ. Оттуда уже доносилась стрѣльба пачками.

Елена первая подбѣжала къ воротамъ, заставленнымъ къ переулку наскоро собраннымъ загражденіемъ въ видѣ невысокой баррикады.

Она вскочила на что-то деревянное — кадку или ящикъ — прицѣлилась, выстрѣлила и что-то крикнула, что — ея спутники не могли разобрать.

Раздался трескъ залпа, и ея стройная фигура, сдѣлавъ оборотъ, рухнула туда, откуда стрѣляли.

Х.

Зарево безсмѣнно стоитъ надъ Прѣсней и туда дальше, къ заставѣ.

Пушечная пальба то смолкаетъ, то опять начинается „ухать“. Одинъ за другимъ загорались и обваливались обывательскіе дома, обставлявшіе улицу. Двѣ сторожки — по обѣимъ сторонамъ заставы — только вчера были отбиты у дружинниковъ.

Крѣпко держалась фабрика, гдѣ хозяинъ оказался за одно со своими рабочими и повстанцами. Ея остатки теперь только тлѣютъ; самъ фабрикантъ захваченъ и сидитъ... можетъ быть разстрѣлянъ.

На нѣсколькихъ пунктахъ разведены костры.

Солдаты грѣются. Около пушекъ копошится прислуга. Драгуны и казаки проѣзжаютъ то рысью, то шагомъ. Къ ночи стало сильно морозить.

Перебаты ружейныхъ залповъ слышны изъ

последнихъ домовъ, откуда еще не выбиты дружинники. Оттуда раздаются и пушечные выстрѣлы.

Мужская худощавая фигура, въ черномъ пальто и мѣховой шапкѣ — движется около стѣны и держитъ путь отъ Кудрина внизъ, къ Прѣснѣ.

Какимъ-то чудомъ удалось ему пробраться сюда и не быть ни подстрѣленнымъ, ни даже задержаннымъ.

Мѣховой воротникъ его пальто поднять и скрываетъ половину его лица.

Изъ-подъ надвинутой шапки глядятъ добрые глаза Петра Петровича Знаменскаго — съ выраженіемъ чего-то, что онъ прежде еще не переживалъ.

Зачѣмъ онъ убѣжалъ изъ дому? Куда стремится? Что ищетъ?

Онъ не могъ сидѣть у себя, въ той квартирѣ, которую только что нанялъ въ огромномъ меблированномъ домѣ, на углу Воздвиженки. Ходить взадъ и впередъ, какъ звѣрь въ клѣткѣ, или лежать на кровати и безумно повторять, и про себя и вслухъ:

„Она погибла!“

Такъ можно сойти съ ума!

И былъ одинъ такой мигъ, когда у него въ головѣ сдѣлалась пустота, — точно все вылетѣло: кто онъ, гдѣ находится, что случилось съ нимъ и что теперь дѣлать?

Страшная эта была минута!

Онъ подбѣжалъ къ умывальнику и сталъ лить себѣ заолодѣлой воды на голову.

И тогда дѣйствительность сразу овладѣла имъ.

Вотъ что случилось. Онъ разыскалъ тотъ домъ, гдѣ Елена Сергѣевна Побѣдова завѣдывала перевязочнымъ пунктомъ. Она убѣждала оттуда и больше не вернулась.

Убѣждала съ двумя дружинниками. Завязалась перестрѣлка у заднихъ воротъ за баррикадой.

Тамъ ее или убили, или захватили.

Онъ былъ ошеломленъ правдой, хотя и готовился къ ней каждую минуту. Но когда ему это рассказали — онъ въ тотъ моментъ только всѣмъ существомъ почувствовалъ, чѣмъ эта дѣвушка была для него, что онъ въ ней потерялъ.

Жить безъ нея показалось ему тутъ же чѣмъ-то положительно невозможнымъ, бессмысленнымъ, гнуснымъ!

Она погибла, а онъ будетъ жить, пить, ѣсть, читать книжки и готовиться къ лекціямъ, которыя никому не нужны?

Никогда!

Но что же теперь дѣлать? Жестоко, преступно было бы сейчасъ же бѣжать къ несчастной — и безъ того еле живой — матери, объявить ей, что ея дочь, вѣроятно, погибла на баррикадѣ. Но гдѣ она — неизвѣстно.

Это было еще засвѣтло. По улицамъ можно

еще было двѣгаться. Онъ взялъ извозчика и бросился отыскивать брата Елены. Ему удалось напасть на его квартиру; но его не оказалось дома. Онъ оставилъ ему отчаянную записку и сталъ метаться по городу безъ всякаго плана. Блеснула даже мысль обратиться въ охрану.

Онъ опять вернулся домой, уже въ сумерки. То бѣгалъ по своимъ двумъ комнатамъ, то бросался на диванъ или постель.

И опять въ головѣ пустота, и опять невыносимая тоска.

Онъ убѣжалъ на улицу отъ самого себя. Мысль пробраться на Прѣсню захватила его властно.

Почему на Прѣсню? Потому, что если Елена еще жива, то она тамъ. Сегодня послѣдній или предпослѣдній день уличнаго боя. Она тамъ... можетъ быть въ той фабрикѣ, которая еще держится... а если сдалась, то сегодня утромъ или вчера.

Онъ не хотѣлъ отвѣчать на тысячи вопросовъ. Всѣ они сводились къ тому, что это — бессмысленно. Онъ ничего не найдетъ, его десять разъ схватятъ, и если онъ окажется сопротивленіе — его заколютъ или пристрѣлятъ, „какъ куропатку“.

— Какъ куропатку! — повторялъ онъ вполголоса и все шелъ.

Кажется, два раза гдѣ-то его окликали. Онъ ничего не отвѣчалъ. Были и выстрѣлы...

тамъ гдѣ-то... у какихъ-то бульварныхъ воротъ. Но онъ уже не помнитъ, у какихъ.

Онъ ничего не помнитъ. У него впереди только вонъ то зарево. На него онъ стремится, какъ глупое насѣкомое на огонь.

Вотъ онъ въ Кудринѣ. Пересѣчь площадку нельзя, — сейчасъ остановятъ.

Онъ сталъ пробираться справа влѣво, совсѣмъ плотно къ стѣнамъ, перебѣжалъ Садовую и пошелъ книзу.

Тамъ уже Прѣсня.

— Кто идетъ? — окрикнули его сбоку.

И ругательство дробью пронеслось въ воздухѣ.

Онъ сталъ. Къ нему разомъ подбѣжали двое пѣхотинцевъ и городской съ ружьемъ.

— Куда? Кто позволилъ? — кинулъ ему, менѣе грубо, городской, беря его свободной рукой за рукавъ.

— Иду по собственной надобности, — отвѣтилъ онъ безстрастно, сознавая, что говорить глупость.

— Кто вы такой? — спросилъ городской, видя, что это не простого званія человѣкъ.

— Видна птица по полету... Антиллегентъ! — крикнулъ солдатъ.

— Я привать-доцентъ университета.

— Гдѣ проживаете?

— На Моховой.

— Куда же вы пробираетесь? На Прѣсню? Когда вамъ достаточно извѣстно, что никто

въ этотъ часъ ни ходить, ни ѣздить не смѣ-
еть. Да еще сюда, гдѣ идетъ усмиреніе
крамольниковъ?

У городского тонъ былъ скорѣе поучи-
тельный, чѣмъ грозный.

— Я обязанъ васъ... представить въ уча-
стокъ.

— Чего въ участокъ! Обыскать его нужно
первымъ дѣломъ. Тащи туда вонъ, гдѣ ко-
лоды... Поручику надо его представить.

Знаменскій стоялъ неподвижно. Ему было
все равно, что съ нимъ сдѣлають эти усми-
рители. Его поведутъ туда, гдѣ костры, и
откуда видно уже тускнѣющее зарево. Тамъ
онъ, быть можетъ, все узнаеть.

— Ведите... — тихо и безстрастно выгово-
рилъ онъ.

Его повели книзу. Кучка солдатъ стояла
около чего-то, что отражало отъ себя ме-
таллическій блескъ. Вѣроятно, это былъ пуле-
метъ, но Знаменскій никогда не видалъ этихъ
орудій.

Поручика тутъ не оказалось. Арестован-
ному „антиллегенту“ позволили присѣсть на
обмерзшую тумбу. Городовой сталъ отъ него
въ трехъ-четырехъ шагахъ. Тѣ солдаты, что
остановили его, присоединились къ кучкѣ
у костра.

Между ними шло веселое галдѣнье. Руга-
тельства прорѣзывали воздухъ вмѣстѣ со
взрывами смѣха.

А справа нѣтъ-нѣтъ и прорывалась ружейная трескотня въ перемежку съ пушечной пальбой.

Онъ закрылъ глаза. Голова кружилась.

— Вотъ, ваше в—діе!

Возгласъ городского привелъ его въ чувство.

Передъ нимъ стоялъ офицерикъ, безусый, съ дѣвичьимъ лицомъ, маленькаго роста, въ огромныхъ сапогахъ, фуражка набекрень, перетянутый въ рюмочку, съ револьверомъ въ правой рукѣ.

— Кто вы?

— Приватъ-доцентъ университета.

Тутъ онъ вспомнилъ, что захватилъ съ собой квартирную книжку.

— Вотъ мой видъ.

И онъ подалъ книжку.

— Зачѣмъ же вы пробирались на Прѣсню?

— Такъ...

— Сведи ихъ въ участокъ.

ХІ.

Въ гостиницѣ, гдѣ стоитъ Марья Ивановна все такая же жизнь, какъ и недѣлю назадъ; только съ шести часовъ никто не выходитъ, и приѣзду нѣтъ, кромѣ какъ съ тѣхъ вокзаловъ, гдѣ есть желѣзнодорожное движеніе.

Главный швейцаръ, надѣвъ *pinse-nez*, мало подходящее къ его сибиркѣ и большимъ сапогамъ, стоя за своей конторкой, читаетъ газету. Его помощникъ и мальчики, въ сѣрыхъ курткахъ, лѣниво двигаются по сѣнямъ или присаживаются на диваны и смотрятъ на ряды калошъ, покрывающихъ полъ вдоль стѣны. Сколько уже жильцовъ вернулись домой; а еще не стемнѣло — всего половина четвертаго. До запретнаго часа остается еще два съ половиной часа.

— Семень... Ивановъ!— окликнулъ, повернувшись, старшій швейцаръ.

— Что угодно?

— На станціи-то... въ Голутвинѣ... лихо распорядились съ повстанцами. До новыхъ вѣдниковъ не забудутъ.

— Такъ имъ и надо... безбожникамъ!

Мальчики въ курткахъ наострили уши. Политическіе разговоры велись среди прислуги съ утра до вечера. Большинство ея были „охранители основъ“; водились и независимыхъ взглядовъ, больше между полоте-рами; но негодовала на то, что сдѣлали съ Москвой „эти самые дружинники“ — вся коридорная женская команда. Нѣкоторымъ приходилось жутко возвращаться вечеромъ на квартиры, и только со вчерашняго дня стало какъ будто немного менѣе строго на улицахъ въ ближайшемъ районѣ.

Не было еще четырехъ, когда Знаменскій вошелъ въ сѣни гостиницы.

Его встрѣтилъ у самой двери старшій швейцаръ. Тотъ уже зналъ его въ лицо.

— Вы въ сто четвертый? Къ госпожѣ Побѣдовой?

— Да. Она дома?

— Дома, дома!.. Вотъ сейчасъ присылала сверху справляться... Поджидаетъ васъ..

Въ тонѣ и въ черныхъ глазахъ швейцара онъ уже замѣтилъ что-то особенное. И то и другое какъ бы говорили: „Знаемъ мы васъ... профессоршекъ... Прозывается „антelligенціей“, а всѣ подъ шумокъ бунтуете“.

— Желаете на машинѣ? — остановилъ его швейцаръ. — Туда, вѣдь, высоконько.

Съ жильцами и съ посѣтителеми верхняго этажа у него былъ вообще нѣсколько иной тонъ.

— Благодарю.

Въ лифтѣ мальчикъ спросилъ его:

— Какъ слышно, баринъ... сегодня или завтра всей Прѣснѣ конецъ? Мы здѣсь какъ узники — ничего не знаемъ.

— И я, милый, не больше того. Долго тамъ нельзя держаться.

Его выпустили на площадку, откуда тутъ же открывался низкій и очень длинный коридоръ.

На порогѣ Знаменскій остановился.

Что онъ скажетъ Марьѣ Ивановнѣ?

Онъ самъ не знаетъ ничего вѣрнаго; но можетъ ли онъ открыть ей все то, что ему извѣстно?

Она больная. Это ее прикуетъ къ постели тяжкимъ... смертельнымъ недугомъ. Ударъ! Нервная горячка! Или полный маразмъ!

На цыпочкахъ сталъ онъ переступать по ковру, подъ которымъ ноги нащупывали еще цыновку.

Вотъ комната, другая. Глаза его считали номера. На двухъ дверяхъ висѣли на гвоздикахъ куски картона съ словомъ „свободенъ“, и опрокинуты были ключи.

Номеръ 104-й выплылъ передъ нимъ. Нельзя

же бѣжать! Она его ждетъ. Онъ отвѣтилъ на ея умоляющую записку, что будетъ непремѣнно къ четыремъ часамъ.

Послѣ того, что онъ испыталъ прошлой ночью, онъ какъ-то застылъ. Ужасная картина, видѣнная имъ на Прѣснѣ, когда солдаты истязали студента — сдѣлала его, какъ бы мгновенно, безчувственнымъ ко всему, что можетъ произойти съ нимъ самимъ, съ дорогими ему людьми, со всей Москвой, со всѣмъ человѣчествомъ.

Для него Елена безвозвратно погибла, какъ онъ знаетъ почти навѣрно, пронзенная „пачкой“ пуль, тамъ, на Садовой. А гдѣ лежитъ ея бездыханное тѣло? — Онъ готовъ помогать несчастной матери въ поискахъ дочери. Но онъ уже похоронилъ Елену. И ему самому „гнусно“ болтаться на свѣтѣ.

Онъ стоялъ передъ дверью нѣсколько секундъ и тихо-тихо постучалъ.

— Войдите! — донесся до него возбужденный голосъ Марьи Ивановны.

Она сидѣла на диванѣ съ обвязанной головой, и только что онъ вошелъ — стремительно поднялась и какъ бы замерла.

— Бога ради, Марья Ивановна! Сидите!

Взглядъ его красивыхъ глазъ доложилъ ей тотчасъ же, что онъ знаетъ что-нибудь ужасное.

Она была прикована къ постели. Будь она на ногахъ — она изъѣдила бы нѣсколько

разъ всю Москву, кинулась бы къ самому генераль-губернатору. Сына она вчера не дождалась и половину ночи проплакала.

— Петръ Петровичъ, — она схватила его лихорадочной рукой, — я вижу все по вашимъ глазамъ. Говорите... я вижу... Я ее уже похоронила... Она вотъ здѣсь, уходя, объявила мнѣ, что жизнь ея ей не принадлежитъ. Говорите!

Не выпуская его руки, она усадила его рядомъ, на диванъ.

— Говорите! Умоляю! Хуже неизвѣстности нѣтъ ничего. Это чистая пытка!

Слезы текли у нея по щекамъ безъ рыданій.

— Я не знаю... ничего положительнаго.

— Вы не хотите...

— Клянусь вамъ, Марья Ивановна...

— Но она уже погибла! Это вѣрно. Гдѣ же? гдѣ?

Надо было лгать.

— Она завѣдывала перевязочнымъ пунктомъ на Садовой. Домъ можно отыскать; тамъ все давно очищено отъ дружинниковъ. Но я не прекращу поисковъ.

Онъ говорилъ это, опустивъ голову. Марья Ивановна почувяла, что онъ не можетъ говорить ей правду.

— Но если она убита — я хочу видѣть ее. Я не могу валяться. Вы свезете меня туда.

— Но куда, Марья Ивановна, я не знаю. И

если бъ меня приговорили къ смерти,—я бы тоже сказалъ вамъ: о ея гибели ничего не знаю. Она могла быть убита или захвачена на Садовой или въ Грузинахъ... больше я ничего не скажу... Вы видите... это для меня мука...

Онъ говорилъ это такимъ голосомъ, что ей стало страшно за него.

— Простите... Я безумная... Вы сами такъ любили ее. Я вижу какъ... бѣдный вы мой, бѣдный.. И для васъ съ нею все ушло, вся радость.

— Не надо! — прошепталъ онъ и отвернулся.

Она поняла то, что онъ хотѣлъ сказать.

„Не надо ничего говорить! Есть такое горе, которое не надо трогать. Надо молчать и умирать“.

Протянулась пауза.

— Какъ же теперь? Неужели ждать? — какъ бы про себя выговорила она сразу спавшимъ голосомъ больной.

— Я буду искать. А вамъ... надо сейчасъ же лечь. Вѣдь разсудите сами, Марья Ивановна,—если мы ее найдемъ раненой... вамъ тогда нужны будутъ двойныя силы. Такъ ли я говорю?

— Такъ. Простите, я — безумная...

— Ложитесь. Докторъ былъ у васъ?

— Здѣсь въ отелѣ есть... да я не послала.

— Пошлите! Сейчас же.

Она обняла его, все еще сидя на диванѣ.

— Вы мнѣ посланы моей горькой судьбой. А дѣти! Митя! Богъ ему судья! Вотъ второй день его не вижу. Сестра погибла, мать безъ помощи валяется... а онъ хоть бы что...

— Марья Ивановна,—остановилъ ее Знаменскій,—Митя вашъ переживаетъ тяжкій кризисъ. Къ возстанію онъ не присталъ, но у него на душѣ цѣлый адъ!.. Я добуду его... Положитесь на меня.

Она совсѣмъ ослабла. Онъ довелъ ее до кровати и уложилъ, одѣтую въ шлафрокъ, съ платкомъ на плечахъ и увязанной головой.

— Я позову горничную, а то здѣсь надо ихъ ждать... явится сперва официантъ. Дайте мнѣ слово, Марья Ивановаа, что вы пошлете за докторомъ.

— Хорошо... А завтра?

— Завтра, до двѣнадцати, я буду и сдѣлаю все возможное, чтобы привести вашего сына.

— А Елена? Елена моя! Жестокая!

Она жалобно протянула еще нѣсколько словъ, которыя онъ не разслышалъ, выходя въ коридоръ.

Марья Ивановна лежала одна не больше пяти минутъ. Вошла горничная — плотная, грудастая женщина въ отельной формѣ: съ чепчикомъ и бѣлымъ фартукомъ по темно-брусничному фону платья.

Ее Марья Ивановна побаивалась. Въ отелѣ уже знали, что ея дочь „изъ такихъ“ и сынъ тоже „сумнительный“. А эта служительница была такой же „платформы“, какъ и старшій швейцаръ. Не дальше, какъ часа полтора тому назадъ, Марья Ивановна плакала при ней, говоря о томъ, что дочь ея могла погибнуть, что и сына она второй день не видѣла.

— Ну что?—спросила она, грузно подходя къ ней на скрипучихъ подошвахъ.— Неужели сынокъ еще не объявился?

— Нѣтъ.

— Ай да сынокъ! А этотъ молодой баринъ — какъ онъ приходится вамъ?

— Близкій знакомый.

— Женихъ что ли барышни?

— Нѣтъ.

— А сильно убивается. Это видно.

Горничная опустила на стулъ и подперла голову рукой деревенскимъ жестомъ.

— Сокрушаюсь я, сударыня, на васъ глядя. Мать родная — и дѣтки такъ себя повели.

До сихъ поръ Марья Ивановна еще ни разу не обмолвилась, что ея дочь въ возстаніи; но эта очень бывалая баба все прекрасно понимаетъ.

— И неужели дочка ваша хоть записки вамъ не прислала, — гдѣ ее отыскать, ежели съ ней недоброе приключилось?

— Нѣтъ.

Марья Ивановна захотѣлось крикнуть ей:
„Молчите, ради Бога!“

— Грѣхи! — звонко вздохнула горничная, поднимаясь. — Раздѣть васъ прикажете? Тотъ молодой баринъ говорилъ — доктора вамъ позвать нашего.

— Не надо.

— Какъ угодно! Грѣхи тяжкіе! — повторила горничная съ такимъ же звонкимъ переводомъ дыханія.

И вышла, ступая грузно, изъ комнаты.

ХІІ.

Еле живую возилъ Знаменскій Марью Ивановну въ извозчичьихъ саняхъ, поддерживая ее за плечо.

Она всю дорогу плакала, жалобно всхлипывая. Каждый звукъ этого плача отдавался у него внутри, но не какъ что-то близкое, раздражающее, а отдаленное, въ родѣ похороннаго звона.

Въ немъ то, что онъ сначала одинъ, потомъ вмѣстѣ съ этой обезумѣвшей матерью продѣлалъ вчера и сегодня — все это не вышло ни одной слезы.

Точно онъ окаменѣлъ. И въ душѣ у него — „пустушка“. Минутами онъ какъ бы ощущаетъ въ головѣ что-то обледенѣлое.

Вотъ сейчасъ они были въ мертвецкой. Рядъ труповъ — одни одѣтые, другіе — полубодранные, третьи — совсѣмъ голые. Все больше молодой народъ: рабочіе, студенты, гимназисты, барышни, простыя дѣвушки, одна старуха, двое или трое малолѣтковъ.

Мать, сдерживая рыданія, переходила отъ одной покойницы къ другой, смотрѣла, впиваясь воспаленными, блестящими глазами въ лица, трогала платье.

И отходила. А тамъ,—къ другому женскому трупу, къ третьему.

А губы ея, запекшіяся отъ внутренней лихорадки, шептали все однѣ и тѣ же слова:

— Не Леля, не Леля!

Онъ сразу видѣлъ уже, что нѣтъ тутъ Лели, не было ея и въ другихъ покойницкихъ, гдѣ онъ перебивалъ.

И все-таки она не хотѣла уѣзжать, порывалась на Ваганьково кладбище, куда пропуску еще не было безъ особаго разрѣшенія.

Онъ почти насильно посадилъ ее въ сани.

Все это онъ могъ продѣлывать почти механически, съ какимъ-то раздвоеніемъ своей личности. Одинъ Знаменскій поступалъ по опредѣленному плану, охранялъ эту несчастную мать, возилъ ее, уговаривалъ, даже заставлялъ ее слушаться.

А другой Знаменскій, который еще недѣлю назадъ любилъ беззавѣтно, страдалъ, страшился за любимое существо—тотъ впалъ въ какую-то...

„Каталепсію“— назвалъ онъ мысленно и изумился, что можетъ опредѣлять то, что происходитъ въ его душевномъ „я“— научнымъ терминомъ.

Марья Ивановна, въ промежутки припадковъ плача, начинала засыпать его вопросами:

„Гдѣ же она можетъ быть? Спаслась? А если убита, то въ какую общую могилу ее бросили? Не оставили же ее гнить на улицѣ? Не сожгли же? Тамъ пожара не было, гдѣ она выстрѣлила въ солдаты!“

Въ этихъ вопросахъ была логика. Но онъ ничего ей не отвѣчалъ.

Трупъ могли зарыть въ общую яму, но эту яму — если и можно были бы точно раззнать, гдѣ она вырыта — нельзя же разрывать, отыскать тамъ трупъ Елены.

Въ назойливыхъ вопросахъ матери прорывались какъ бы упреки ему, что ни онъ, ни Дмитрій не хотятъ помочь ей.

Сынъ тоже ищетъ, по крайней мѣрѣ, общалъ и ей и ему не дальше, какъ вчера. Но на него разсчитывать нечего! Онъ — совсѣмъ какъ „шалый“, сильно разстроень, и съ нимъ можетъ произойти что-нибудь роковое: такое чувство вызываетъ онъ въ Знаменскомъ.

Къ концу дороги Марья Ивановна замолкла и сразу ослабѣла, близка была къ обмороку.

Пришлось съ помощью швейцара высадить ее изъ саней. Они пронесли ее, болѣе чѣмъ провели — до лифта. И тамъ Знаменскій долженъ былъ держать ее на скамьѣ. Мальчикъ помогъ ему довести ее до ея номера.

Но она смогла сама на-половину раздѣться и попросила его положить ей подъ голову подушку на диванъ — легла и громко, продолжительно вздохнула.

— Да будетъ Его святая воля! — полушопотомъ выговорила она. — Простите меня, Петръ Петровичъ... Много я васъ мучила. Теперь не буду. Клянусь вамъ! Лели нѣтъ... Это мы знаемъ. А если она спаслась... Какая будетъ для насъ радость! Вѣдь да? Сядьте сюда.

Онъ присѣлъ у ея изголовья.

Марья Ивановна повернулась, взяла его рукой за голову, нагнулась и поцѣловала.

— Вы — мой сынъ. Я такъ на васъ гляжу. Судьбѣ не угодно было... Простите, я только растрavляю вашу рану.

И, взглянувъ на него пристальнѣе, она прибавила:

— Родной мой! Уныніе — смертный грѣхъ! Вы должны вѣрить, вмѣстѣ со мною, что Лелю намъ возвратятъ. Вѣдь да?

— Да, — машинально вымолвилъ онъ и опустилъ вѣки. Ему было тяжело выносить ея взглядъ.

Въ дверь постучали. Знаменскій спросилъ ее вполголоса:

— Кому же быть?

— Войдите! — крикнулъ онъ за нее.

Вошелъ Дмитрій и не сразу приблизился къ дивану.

— Я съ морозу, мама,— сказалъ онъ обыкновеннымъ тономъ; но Знаменскій сейчасъ же зачуялъ въ немъ большое расстройство.

— Спасибо. Сядь... Мы были съ Петромъ Петровичемъ тамъ,— она не смогла выговорить слово „покойницкая“.— Нѣтъ нашей Лели. И довольно. Нельзя такъ упорствовать—не хорошо. Ты ничего не нашель?— съ усилениемъ выговорила она, отдѣливъ голову отъ подушки.

Студентъ повелъ какъ-то странно головой, сѣлъ у кровати и тотчасъ же закурилъ папиросу.

— Тебѣ ничего, мама, что я курю?

— Ничего... я и сама выкурю.

Тутъ только она вспомнила, что жила совсемъ безъ куренія болѣе двухъ сутокъ.

— Если тебѣ тяжело рассказывать... не говори. Пропала! Это вѣдь все-таки лучше, чѣмъ если бъ мы знали, что она погибла тамъ-то или тамъ-то и ее бросили въ общую... яму,— съ трудомъ выговорила она.

— Ничего я не могъ...

— Я и не требую. Извини меня... вотъ при нашемъ ангелѣ, Петрѣ Петровичѣ, за мои попреки. Больше ничего не услышишь отъ меня. Я уѣду, какъ только соберусь съ силами. Старикъ мой тамъ одинъ... въ тоскѣ... адски тревожится. Дешь не принимаютъ туда. Сегодня пошлю. А ты, Митя, какъ же думаешь — здѣсь оставаться?

— Да, мама.

— Ты уцѣлѣлъ. Если не очутился тамъ, на Прѣснѣ — значить, это было противъ твоего убѣжденія. Кто же можетъ тебя осудить?

Она взглянула сначала на Знаменскаго, потомъ на сына.

Дмитрій сидѣлъ блѣдный, съ опущенными глазами, съ изнуреннымъ лицомъ, точно онъ всю ночь провелъ безъ сна.

Слова матери рѣзнули его по самому живому мѣсту.

— За что же осуждать?— какъ бы про себя обронилъ Знаменскій.

— Совѣсть твоя чиста — это главное. Не хочу насиловать твою свободу. Ты останешься здѣсь. Какъ поведешь себя — дѣло твое. Пожалѣешь насъ со старикомъ... можетъ и пріѣдешь.

Она не договорила и поднесла платокъ къ глазамъ. Всѣмъ троемъ было тяжело продолжать этотъ разговоръ.

— Петръ Петровичъ,— начала Марья Ивановна другимъ тономъ,— вы бы пошли закупить съ Митей. Вѣдь вы съ утра голодны?

— Я пилъ чай, Марья Ивановна.

— Митя... Поведи Петра Петровича въ ресторана. Можетъ и обѣдъ уже готовъ. Здѣсь можно брать отдѣльныя порціи изъ обѣда. А я полежу.

Оба тотчасъ же встали, благодарные ей за то, что она ихъ усылаетъ.

По коридору оба шли одинъ за другимъ и когда вошли въ залу ресторана, гдѣ было совсѣмъ пусто, и сѣли у одного изъ боковыхъ столовъ, то не сразу заговорили.

Подошелъ официантъ. Долго они не могли ничего выбрать по картѣ. И когда лакей удалился послѣ заказа, Знаменскій такъ же долго глядѣлъ на студента.

— Дмитрій Сергѣевичъ! — вполголоса окликнулъ онъ.

Тотъ поднялъ голову.

— Вы что-нибудь узнали? Мнѣ вы можете сказать.

— Узналъ. Но зачѣмъ я буду вамъ рассказывать, Петръ Петровичъ? Вы любили Елену больше и лучше меня.

— Что же такое? Говорите!

Это былъ почти крикъ твердый, повелительный. Глаза Знаменскаго уставились на Дмитрія — съ расширенными зрачками, жуткіе, почти страшные.

— Я узналъ отъ одного товарища Климова — нашего общаго съ Лелей пріятеля. Климовъ былъ смертельно раненъ, и его принесли на тотъ перевязочный пунктъ, гдѣ была Леля.

— Я знаю. Тамъ ее и убили, я это знаю — фактически, безповоротно.

— Да. Она получила зарядъ нѣсколькихъ винтовокъ и упала съ самага верха баррикады.

— И это я знаю, Дмитрій Сергѣичъ.

— Но вотъ что... новое,— вымолвилъ студентъ, съ косою усмѣшкой своего безкровнаго рта.

— Новое?—повторилъ Знаменскій замедленно.

— Тѣло ея подобрали свои, припрятали во дворѣ... хотѣли передать другимъ дружинникамъ. И это имъ не удалось.

— Не удалось,—также замедленно, точно скандируя эти два слова, повторилъ Знаменскій.

— Ихъ трупы... валялись до утра... въ томъ числѣ и тѣло Лели. И ихъ увезли въ фургонѣ, куда — неизвѣстно.

Сдѣлавъ громкую передышку, студентъ добавилъ:

— Вотъ какой былъ конецъ моей сестры Елены. А въ какую яму ее зарыли,—какъ же это разыскать? Я отказываюсь. И мамѣ — понятно — ничего не скажу. Пускай она останется съ вѣрой въ то, что Леля спаслась и явится къ нимъ въ усадьбу — не сегодня завтра.

И онъ тихо разсмѣялся.

Взглянувъ на Знаменскаго, онъ испугался, и лицо его вдругъ точно побурѣло.

Тотъ сидѣлъ, опустивъ руки, со взглядомъ, устремленнымъ черезъ его голову — куда-то, и въ этихъ глазахъ студентъ боялся про-

честь начало чего-то рокового. Ясно было для него, что передъ нимъ — человекъ, душа котораго отсутствуетъ, и только тѣло находится тутъ, сидитъ на стулѣ, передъ столомъ, въ залѣ отельнаго ресторана.

ХІІІ.

Въ пивной народу оставалось мало. Черезъ четверть часа всѣхъ попросять уйти.

За столикомъ, въ углу, сидѣлъ Дмитрій Побѣдовъ противъ очень рѣзкаго брюнета съ курчавой головой, восточнаго типа. Тотъ былъ въ цвѣтной косовороткѣ, безъ галстука и въ сѣромъ пиджакѣ.

Говорилъ онъ безъ замѣтнаго акцента, баскомъ, часто поводя бѣлками своихъ огромныхъ глазъ.

— Такъ мы будемъ ждать, — сказалъ брюнетъ и закурилъ толстую папиросу.

— Въ которомъ часу?

— Не раньше десяти.

Только въ словѣ „десять“ слишкомъ отчетливый звукъ „э“ выдавалъ курчаваго брюнета.

Чувствовалось, что они очень мало знакомы. Дмитрій не находилъ съ нимъ настоящаго тона, и этотъ восточникъ казался ему „весьма



не изъ пушихъ“.—Дмитрію казалось странно, что его отрядили для переговоровъ съ нимъ.

Вечерняя сходка, куда онъ могъ явиться завтра съ извѣстнымъ паролемъ — должна была рѣшить многое.

Стоять дольше на томъ перепутьи, гдѣ онъ очутился — больше нѣтъ мочи. Тѣ, кто, какъ его товарищъ Климовъ, позволили увлечь себя якобинцамъ — глупо погибли. И сестра Елена, и Климовъ! Неизвѣстно даже, куда бросили ихъ тѣла — въ какую яму.

— Кажется, пушка была?—спросилъ брюнетъ и насторожилъ правое ухо.

— Нѣтъ, это вамъ такъ показалось. А можетъ быть... Все равно... штука не выгорѣла. И кончилось печальнымъ пшикомъ.

— Какъ вы сказали?

Курчавый оскалилъ свои огромные бѣлые зубы.

— Пшикомъ. Это такъ... мое слово. Кажется, оно идетъ отъ Щедрина.

— Пшикъ. Ха-ха! Это — вѣрно. Только народу погубили столько... зря.

— А сколько?—остановилъ Дмитрій.

— Тысячу навѣрняка... а то и больше.

— Врядъ ли! Ихъ всѣхъ - то... настоящихъ дружинниковъ — было съ тысячу.

Восточный человѣкъ пожалъ плечами и сильно потянулся.

— Все это оттого, что не хотятъ понять — въ чемъ сила.

И онъ сверкнулъ своими бѣлками съ синимъ отливомъ.

Дмитрій понялъ, на какую „силу“ онъ намекалъ.

— А денегъ сколько ухлопали,— сказалъ брюнетъ, презрительно выпятивъ толстую губу.—На одну четверть такихъ расходовъ...

Онъ не договорилъ и оглянулся. Служитель въ курткѣ подходилъ къ нимъ.

— По домамъ?—спросилъ курчавый.—Сейчасъ попросятъ удалиться.

— Такъ въ десять?

— Обязательно.

Восточный человѣкъ стиснулъ руку Дмитрія до боли.

Они разстались на углу бульвара.

Дмитрій шелъ медленно, съ низко опущенной головой, никого не замѣчая, почти не сознавая — куда онъ идетъ, и туда ли лежитъ его путь, куда онъ машинально направлялся.

Неужели онъ серьезно хочетъ вступить въ ту „организацию“? Не всѣ тамъ орлы — хоть бы и этотъ кавказецъ, съ которымъ они сейчасъ пили пиво. Но вѣдь имъ и не нужно, чтобы всѣ были „орлы“.

„Дѣло — чистое“, — выговорилъ онъ про себя и не ужаснулся этого выраженія; не ужасался и своихъ мыслей и выводовъ.

Машинально остановился онъ и поднялъ голову. Онъ давно уже прошелъ тѣ ворота

бульвара, откуда долженъ былъ бы повернуть на Воздвиженку.

Людя ждетъ его пить чай. Она успокоилась на его счетъ. Она еще не знаетъ того, что въ немъ теперь бродитъ и къ чему его стало тянуть.

Вчера, когда онъ зашелъ къ ней отъ матери, она стала говорить, что ему „грѣхъ“ такъ поступать съ матерью. Онъ долженъ проводить ее въ деревню и тамъ „переждать“, пока все здѣсь успокоится.

Дмитрій ничего не возражалъ, не оправдывался. И въ самомъ дѣлѣ, его ничто „особенное“ не удерживаетъ въ Москвѣ. Завтра онъ пойдетъ на ту сходку. Если она рѣшитъ его судьбу, то это случится до отъѣзда матери. Она еще очень слаба и раньше будущей недѣли не двинется. Ему стало не столько совѣстно самого себя, сколько жаль „старуху“. Отвезетъ онъ ее въ усадьбу и простится тамъ съ дѣдомъ, да и съ нею.

Развѣ онъ можетъ сказать, что когда-либо вернется туда? Хорошо, если „старичина“ дотянетъ до весны. А усадьбу все равно сожгутъ при новой серіи погромовъ.

Все идетъ „на смарку“. Только у разрушенія и есть смыслъ. Но надо разрушать съ идеей. А это могутъ дѣлать только враги теперешняго вопіющаго „порядка вещей“.

Начнетъ ли онъ сейчасъ съ этого самъ, когда придетъ къ своей жизнерадостной и

уравновѣшенной подругѣ? Для нея это — нѣчто „страшное“ — и только. Она, до сихъ поръ, еще ни разу не остановилась на томъ вопросѣ: можно ли жить въ социальной клоакѣ, которая создана хищникомъ - буржумъ? Для нея все, что теперь дѣлается — только занимательно, ново. Она сочувствуетъ и „эсъ-эръ“ и „эсъ-де“, и всякому молодому протесту, но въ ту „организацию“, куда его тянетъ — она не поступитъ. Итти на вѣрную смерть изъ-за идеи — на это ея не хватаетъ.

И все-таки онъ не скроетъ отъ нея того, что теперь колышетъ его душу.]

Людмила ждала его въ своемъ номерѣ, въ голубомъ пенюарѣ, приготовила чай на столикѣ, съ печеньемъ и маленькими, красивыми бутербродами, которые сама дѣлала. Комнату весело освѣщали лампа и двѣ свѣчи подъ цвѣтными абажурами.

— А! Митя! Я заждалась... Чай готовъ.

Какъ всегда, она вкусно поцѣловала его въ два приѣма и стала усаживать на диванъ, около чайнаго прибора.

— Мама твоя какъ?

Она уже знала, что сестру его такъ и не нашли и всплакнула — одна.

— Теперь тиха... Подчинилась судьбѣ.

— Ты отвези ее, Митя! Не хорошо, милый!

— Отвезу.

— Согласись... мнѣ не сладко будетъ оста-

ваться одной. Но такъ лучше. Поживи тамъ... сколько можешь. Вѣдь здѣсь начнутся разные гадости... аресты, экзекуціи. Ни митинговъ, ни засѣданій. Ты уцѣлѣлъ, и за то надо возсылать благодареніе богамъ.

Она схватила его за голову обѣими ладонями и поцѣловала.

— Ахъ, Людя!—заговорилъ онъ съ своей косою усмѣшкой.—Погляжу я на тебя... Ты все еще какая-то... дореформенная.

— Почему это?—почти обидчиво остановила она.

— Для тебя все еще есть устои, правила, клѣточки... Это хорошо, а это дурно, это нравственно, а то безнравственно.

— А то какъ же?

Людмила удивленно поглядѣла на него.

— Безнравственно—вотъ сейчасъ войти въ казначейство и унести сундукъ съ деньгами? Безнравственно?

— Я не знаю, Митя... Но послѣ этого... всякій разбой—допустимъ?

— Разбой! Это все жалкія слова! Отнимать у самыхъ презрѣнныхъ разбойниковъ—значить дѣлать хорошее, честное дѣло. И только тебѣ, Людя моя милая, кажется, что какая-то нравственность признается въ такъ называемомъ культурномъ обществѣ. Наивная иллюзія! Никакой морали, никакой этики нѣтъ и быть не можетъ въ такомъ обществѣ, которое все прогнило.

— Какъ же его пересоздать? — серьезно спросила она.

— Какъ?

Онъ вышелъ изъ-за столика, остановился посрединѣ комнаты, широко разставилъ ноги и рукой рѣзнулъ воздухъ.

— Баць! Разрушать надо первымъ дѣломъ. А потомъ пускай само собою все устроится.

— Что ты такое говоришь, Митя! Съ чужого голоса, небось? Что жъ ты, въ эти... въ террористы, что ли, собираешься?.. Ты — такой убѣжденный эсъ-де?

-- Эсъ-де! Ха-ха! Ты по-нѣмецки порядочно знаешь... и Гейне читала.

— Читала „Buch der Liebe“ ... и даже „Romantero“.

— Онъ въ одномъ предисловіи говорить, что съ него довольно—„сечь лѣтъ онъ у гегелианцевъ — берегъ свиней, какъ въ евангельской притчѣ о блудномъ сынѣ. И ему захотѣлось живого, личнаго Бога.

— И тебѣ также?

— Нѣтъ... не Бога, а захотѣлось стряхнуть съ себя все это книжное сектанство! И дѣйствовать я хочу не по книжкамъ. И вотъ такихъ глупыхъ опытовъ не желаю, какъ то, что близится теперь на Прѣснѣ къ послѣдному издыханію.

— Что же ты хочешь дѣлать, Митя?

Она прильнула къ нему и смотрѣла ему въ глаза.

— Что? Подожди... Узнаешь!

XIV.

Умолкъ гуль пушечной пальбы. Трескотни выстрѣловъ не слышно уже второй день, даже и въ темнотѣ.

Прѣсня стоитъ въ догорающихъ развалинахъ обывательскихъ домовъ. Отъ возставшей фабрики мебели сохранилось только пепелище.

Ѣзда и ходьба по улицамъ — поменьше прежняго, но точно ничего не было въ теченіе десяти „историческихъ“ дней — особенно въ „городѣ“, на Тверской, на Кузнецкомъ, на Мясницкой.

— Неужели это уже было?—спрашивалъ себя, оглядываясь по сторонамъ, все тотъ же пѣшеходъ, съ приподнятымъ мѣховымъ воротникомъ пальто, спускавшійся въ сумерки по Воздвиженкѣ.

Знаменскій цѣлый день бродилъ по Москвѣ. Утромъ онъ зашелъ къ Марьѣ Ивановнѣ и взялъ съ нея слово, что она выходитъ никуда не будетъ.

Ей лучше; лихорадки почти что нѣтъ. Она не плачетъ, мало говоритъ, точно совсѣмъ помирилась съ тѣмъ ужаснымъ фактомъ, что Елена — погибла. Въ душѣ ея все еще теплится надежда.

Но не въ немъ. Онъ навѣрно знаетъ, что Елена попала въ общую могилу, а можетъ, ея обезображенный трупъ брошенъ былъ въ огонь.

Было бы отрадно знать, что она именно такъ погибла! Самъ онъ давно уже сталъ горячимъ сторонникомъ сожженія труповъ. За границей посѣщалъ крематоріи, напечаталъ письмо изъ одного итальянскаго города, какъ свидѣтель такихъ похоронъ.

Онъ, до сихъ поръ, можетъ живо представить себѣ тотъ моментъ, когда тѣло станетъ все какъ бы прозрачное и сіяющее, но сохраняетъ еще свой остовъ, всѣ свои очертанія. И такъ длится нѣсколько минутъ — и вдругъ распадется.

Было, для него лично, что-то трогательное въ этомъ процессѣ. Никакія похороны не дадутъ того. Все въ нихъ такъ громоздко, ненужно, болтливо, а въ нашемъ климатѣ — грязно или жутко отъ дождя, снѣга, лютаго мороза.

И мысль, что его здѣсь негдѣ будетъ предать такому же сожженію — начала гнестить его.

Онъ думалъ всѣ эти дни о себѣ всего

больше, какъ о покойникѣ. И это не ужасало, не печалило его. Его „застылость“ все увеличивалась: такимъ именно словомъ называлъ онъ свое душевное состояніе.

Раза два вчера и одинъ разъ сегодня онъ спросилъ себя:

„Не лишаюсь ли я разсудка?“

И каждый разъ этотъ вопросъ прозвучалъ въ его головѣ безъ всякой эмоціи, ясно, отчетливо и безстрастно.

То, что ему случалось читать по психіатріи — дало ему намекъ на его собственное состояніе.

Кажется, это такъ и называется — „раздвоеніе личности“.

И сегодня онъ то же испытываетъ. Внѣшній человѣкъ дѣлаетъ все совершенно нормально, все то, что съ утра рѣшилъ.

Вотъ и сегодня онъ записалъ на листкѣ „блокъ-нотъ“: зайти къ Марьѣ Ивановнѣ, пробраться на Прѣсную, посѣтить Ваганьково, вернуться домой, взять съ собой двѣ книги изъ университетской библіотеки, зайти закутить куда-нибудь по дорогѣ, навѣстить еще разъ Марью Ивановну.

Все это онъ исполнилъ. Ничего не забылъ, ничего не спуталъ.

Вотъ онъ идетъ по Моховой.

То, что онъ душевно пережилъ опять на Прѣснѣ и на кладбищѣ, гдѣ ему удалось по-

бывать, это съ тѣмъ, внѣшнимъ Знаменскимъ — ничего общаго не имѣеть.

Прѣсня предстала передъ нимъ не просто, какъ улица съ обгорѣлыми обывательскими домами — точно послѣ сильнаго пожара, а какъ что-то одухотворенное. Изъ-за обгорѣлыхъ оконъ съ выбитыми рамами глядѣли на него мертвецы — одни въ саванахъ, другіе, какъ скелеты, третьи — обгорѣлые, съ зіяющими ранами.

И на кладбищѣ внѣшній Знаменскій видѣлъ чьи-то купеческіе похороны, слышалъ голосъ дьякона и хоръ пѣвчихъ. Онъ самъ даже подтянулъ: „Со святыми упокой“.

Но тотъ, внутренній Знаменскій, когда пошелъ бродить по засыпаннымъ снѣгомъ дорожкамъ кладбища, видѣлъ передъ собою — куда бы онъ ни пошелъ — какую-то прозрачную тѣнь, не въ саванѣ, а въ бѣлой одеждѣ. И она колебалась въ воздухѣ и то заходила за деревья, то выплывала между ними.

Почему-то онъ подумалъ, что такой представлялась Тургеневу его Эллисъ въ „Призракахъ“.

Внѣшній Знаменскій зашелъ въ бібліотеку, отдалъ книги, о чемъ-то спросилъ сторожа и, выйдя изъ воротъ на улицу, перешелъ на другой тротуаръ и долго смотрѣлъ на зданіе университета — и старое, и перестроенное новое съ бібліотекой.

А внутри его точно кто плакалъ. Ему слы-

шались даже звуки этого плача и слова, прерываемыя рыданіями:

„Прощай... alma mater... Умеръ Панъ! Умеръ! Науки нѣтъ, читать некому, работать не для кого... Умеръ Панъ!“

И эти два слова: „Умеръ панъ“ — повторялись гдѣ-то въ мозгу или снаружи — онъ не можетъ сказать — и дальше, когда онъ спустился ниже, держась того же тротуара.

А тотъ; внѣшній Знаменскій — отчетливо сознавалъ, что онъ идетъ мимо книжнаго магазина, а потомъ надо взять вправо, гдѣ известная рыбная лавка, а по другому фасаду того же дома идетъ вывѣска трактира. И эту вывѣску онъ превосходно знаетъ съ ея двумя питейными цвѣтами, желтымъ и зеленымъ, и съ обозначеніемъ, что этотъ ресторанъ — „второго разряда“.

Ему даже вспомнилось, что когда-то, въ молчаливское время, тутъ была знаменитая кофейня Печкина, и засѣдалъ смѣшной, бездарный актеръ Малаго театра — Максинъ. И анекдотъ ему припомнился, какъ кто-то изъ актеровъ заспорилъ съ пріателемъ по вопросу: находилась ли Софья Фамусова въ связи съ Молчалинымъ или только еще амурилась, — и какъ актеръ обратился къ бывшему тамъ Островскому, и тотъ отвѣтилъ имъ: „Господа, она — благородная дѣвица, зачѣмъ же ее срамить такимъ подозрѣніемъ?“

То, что стояло на листкѣ, оторванномъ

отъ блокъ-ночь — пойти закусить въ трактиръ, а потомъ навѣстить еще разъ Марью Ивановну — выскочило изъ головы его само собою, безъ всякаго, съ его стороны, усилія.

Онъ, не доходя до отеля, пересѣкъ Охотный рядъ, поглядѣлъ на лавочку съ газетами и на вывѣску меблированныхъ комнатъ, гдѣ онъ въ прошломъ году у пріѣзжей старушки изъ Оренбурга покупалъ пуховый козій платокъ для одной кузины.

И пошелъ, не спѣша, внизъ по этому куску Тверской, повернулъ по фасаду Московской гостиницы, на углу остановился и постоялъ съ полминуты.

Передъ нимъ высились двѣ красныхъ кирпичныхъ глыбы — дума и музей; а посрединѣ два зеленыхъ „шатра“ башни съ орлами надъ двумя проѣздами Воскресенскихъ воротъ и голубая съ золотыми звѣздами крыша часовни Иверской.

Она была открыта. Видны внутри пучки зажженныхъ свѣчей. Тамъ, въ два ряда, стали монашки, въ своихъ остроконечныхъ клобукахъ. Поднимаются и опускаются молящіяся. Подѣзжаютъ сани. Вонъ и барская карета. Лакей поддерживаетъ барыню по скользкимъ ступенькамъ.

Все та же Москва. Неужели только что подавлено возстаніе?

— Революція! — вполголоса вымолвилъ онъ.

И это слово показалось ему ужасно смѣшно.

„Какая революція? Вѣдь ничего уже нѣтъ?
Умеръ Панъ!“

И опять эти два слова, въ ихъ особомъ эллинскомъ значеніи — прозвучали у него тамъ внутри — онъ не можетъ сказать, гдѣ именно, въ какихъ „изгибахъ души“.

И эта банальная фраза старомодныхъ беллетристовъ пришла ему тутъ же.

Онъ рѣзко повернулся на каблукахъ своихъ высокихъ ботишковъ — „бахиль“ и однимъ духомъ дошелъ до подъѣзда ресторана.

Все по-прежнему: та же гардеробная комната, тѣ же степенные швейцары, въ сибиркахъ и мягкихъ сапогахъ, и та же лѣстница съ трактирной отдѣлкой и выставкой фотографій на площадкѣ.

Когда онъ вошелъ въ большую залу, завтракъ уже кончался; но было еще довольно много народу. И наверху, по двумъ галереямъ — еще видны были головы.

Половые казались бѣлыми видѣніями между столами.

Они ему вдругъ стали представляться именно „видѣніями“, а не служащими, въ усахъ и бородахъ, съ маленькими шелковыми поясками, за которые заткнуты книжки въ черномъ переплетѣ.

Одно изъ этихъ „видѣній“ предложило ему сѣсть у свободнаго столика, около эстрады, гдѣ игралъ обыкновенно итальянскій оркестръ дѣвиць; но музыки уже не было.

Тотъ внѣшній Знаменскій опять вступилъ въ свои права. Онъ заказалъ полпорціи битковъ и спросилъ закусить ветчину и рюмку рябиновой.

Водку онъ очень рѣдко пьетъ. Но тутъ ему показалось, что безъ нея все остальное будетъ безвкусно.

И про себя онъ отмѣтилъ, что наступила такая пауза, когда у него не было никакой мысли, никакого образа, никакого видѣнія, и половые приняли свое обыкновенное обличье.

Опрокидывая въ горло рюмку рябиновой, онъ ощутилъ пріятный обжогъ и вкусъ рябины и съ аппетитомъ разрѣзалъ кусокъ вареной ветчины и потомъ соленый огурецъ.

И только что принялся за полпорціи битковъ, къ нему кто-то подошелъ со стороны выхода на лѣстницу и окликнулъ его.

— Петръ Петровичъ! Мое почтеніе!

Онъ поднялъ голову почти съ испугомъ и тотчасъ узналъ того, кто его окликнулъ.

Это купеческій сынъ, его бывший слушатель, съ которымъ онъ возобновилъ знакомство на агитаціонномъ собраніи, въ хоромахъ его родителей.

— Увидалъ васъ сверху. Мы тамъ засидѣлись... грѣшнымъ дѣломъ. — И, оглянувшись кругомъ, студентъ наклонился надъ столомъ

и сказалъ вполголоса: — Вотъ и finita la commedia! Отходную надо пропѣть революціи.

Знаменскій остановилъ на купчикѣ упорный взглядъ.

— Умеръ Панъ! — выговорилъ онъ громко и раздѣльно.

Тотъ понялъ сейчасъ.

— Вѣрно, Петръ Петровичъ! Панъ умеръ. Всего лучшаго!

И поспѣшно удалился.

XV.

Опять они сидят другъ противъ друга въ столовой гостиницы.

Только что они вышли изъ номера Марьи Ивановны. Ей сегодня гораздо лучше. Она заговорила было, что надо сдѣлать заявленіе о томъ, что Елена „пропала безъ вѣсти“. Знаменскій сказалъ ей только: „оставьте, дорогая“, а студентъ сталъ горячо доказывать, что это значило бы „унижаться передъ общимъ врагомъ“.

— Согласись, мама,— говорилъ онъ, нервно поводя глазами,— ты выдашь дочь свою, какъ мятежницу... а ты, вѣдь, была за одно съ ней, если говорить правду— больше даже, чѣмъ я.

Марья Ивановна смолкла. Она опять прилегла, сказавъ имъ:

— Чаемъ-то я васъ и не угостила. Пожалуйста, напейтесь тамъ, въ ресторанѣ.

Ихъ, со смерти Елены, что-то особенно стало тянуть одного къ другому.

Студентъ что-то зачуялъ въ этомъ „акаде- мическомъ“ существѣ съ того момента, какъ смерть его сестры разразилась надъ нимъ и унесла въ „общую яму“ дѣвушку, которую тотъ такъ беззавѣтно любилъ. Такую страсть онъ даже и не допускалъ въ мелкомъ „голо- вастикѣ“, въ человѣкѣ науки и отвлеченныхъ формуль.

Того душевнаго процесса, какой завладѣлъ Знаменскимъ, Дмитрій еще не прозрѣвалъ; но что-то онъ какъ будто зачуялъ.

Ихъ сближало теперь то, что ничто уже ихъ не возмущаетъ и не страшитъ.

Они оба — каждый по своему — „застыли“.

Знаменскій еще у Марьи Ивановны замѣтилъ, что у студента въ лицѣ какая-то подавленная внутренняя тревога. И даже когда онъ горячо высказывался противъ того, чѣмъ обмолвилась его мать, — онъ все-таки былъ преисполненъ чего-то своего, чисто личнаго.

— Дмитрій Сергѣичъ, — началъ Знаменскій, оглянувшись на залу, совершенно пустую, — у меня такое чувство... такая интуиція, — прибавилъ онъ, — что мы съ вами вотъ теперь на одномъ положеніи.

— Ха-ха! Въ какомъ смыслѣ, Петръ Петровичъ?

— Можетъ быть, мы уже не увидимся больше.

— Развѣ вы скрываетесь... изъ Москвы?

— Нѣтъ... вы проводите вашу матушку. Да

и вообще... развѣ можно теперь за что-нибудь поручиться?..

Перебивая себя, Знаменскій потянулся къ нему черезъ столъ и началъ говорить вполголоса:

— Скажите... вы вѣдь не тотъ эсъ-дэкъ, какимъ были... вотъ до послѣднихъ событій?

— Нѣтъ, не тотъ... Но если бъ я вамъ вотъ сейчасъ раскрылъ все, что во мнѣ зажглось... я не знаю, какъ бы вы на это реагировали.

— Говорите! Говорите!

— Сила въ одномъ — въ разрушеніи...

— Чего? — остановилъ Знаменскій.

— Всего, что тормозитъ наше „я“.

— Терроръ? — полушопотомъ выговорилъ Знаменскій.

— Слово хорошее... такое же могучее, какъ и самая идея.

— И вы... сожгли свои корабли?

— Оставимъ, Петръ Петровичъ, эту избитую номенклатуру. Книжка владѣла мной — вотъ что! Вѣрьте... я минутами завидую долѣ сестры.

По лицу Знаменскаго проползла дрожь.

— Простите... Вамъ слишкомъ больно всякое упоминаніе.

— Нѣтъ! Нѣтъ! Я вѣдь застылъ.

— Застыли? Да! Это отличное слово, Петръ Петровичъ. Завидую ей... индивидуально. Ли-

хая смерть—вотъ что лестно! Но она служила ненужному, прямо вредному дѣлу. Все это — игра въ партійную тактику... повтореніе задовъ западной революціи. Жаль только, что съ Бастиліи не начали... а могли бы. Бутырки бы взять приступомъ... Ха - ха!

Знаменскій какъ будто слушалъ студента, но его глаза уходили въ пространство.

Студентъ не сразу это замѣтилъ.

— Уйти надо, — совсѣмъ другимъ тономъ, значительно, съ какой-то странной улыбкой произнесъ Знаменскій.

Тутъ только Дмитрій посмотрѣлъ на него внимательно.

— Откуда, Петръ Петровичъ?

— Отсюда — изъ этой нелѣпой и печальной сутолоки! Вы любите вашу мать... и мнѣ она дорога... теперь стала еще дороже. Но зачѣмъ она мучится? Какая сладость? Что она искупаетъ? И вы, Дмитрій Сергѣичъ если хотите уйти... въ терроръ — что вы, готовите этой несчастной матери? Это чудовищно! Да! А я не могу васъ осуждать. Не могу! А можетъ быть, — онъ еще понизилъ голосъ, — вы только ищете такой формы, въ которую хотѣли бы облечь свой уходъ.

— Изъ жизни? — нервно остановилъ Дмитрій. — Нѣтъ, я не смотрю на себя, какъ на кандидата въ Елисейскія Поля.

— Но вѣдь это можетъ свестись къ тому

же. Вы обрекаете себя на вѣрную гибель въ восьмидесяти случаяхъ на сто.

— Да, это такъ. Но моментъ совсѣмъ иной—это не пассивный уходъ изъ жизни, личный приговоръ, выполнение роли палача надъ собственной особой. Нынче гимнастики—на это больше мастера, изъ-за двойки въ греческомъ.

— Все равно,—опять другимъ тономъ возразилъ Знаменскій и подперъ свой высокій блѣдный лобъ ладонью правой руки.—Все равно, милый мой юноша! — И сдѣлавъ жестъ, точно хочетъ пустить звукъ тсс... онъ раздѣльно произнесъ:—Панъ умеръ!

Студентъ не сразу схватилъ мысль этого изреченія.

— Панъ умеръ! — повторилъ Знаменскій.— Развѣ не правда?

И, точно проснувшись, онъ заговорилъ нервнѣе и отрывистѣе.

— Простите... я васъ смутилъ, быть можетъ? Видите ли... во мнѣ теперь точно двѣ отдѣльныя личности сидятъ.

— Что вы, Петръ Петровичъ!

— Увѣряю васъ. Одинъ—я его называю внѣшнимъ Знаменскимъ—тотъ все дѣлаетъ и говоритъ по извѣстной программѣ... А другой—внутренній. У того совсѣмъ иная психика.

Все это было сказано такъ трепетно и

задушевно, что Дмитрій не могъ принять это за шутку, и ему стало почти что жутко.

„Неужели это начало?..“

Онъ не закончилъ вопроса.

— Мы всѣ раздвоены, Петръ Петровичъ!— быстро заговорилъ онъ, подавляя свое смущеніе. — Это хуже всего! Я не знаю, что со мною будетъ... черезъ недѣлю... я хочу сказать — на чемъ я покончу? Но продолжать бесплодное и унижительное самоковырянье — я не намѣренъ. Баста!

Онъ шумно отодвинулъ стулъ и поднялся. Всталъ и Знаменскій.

Выраженіе его глазъ опять привлекло Дмитрія.

„Это пройдетъ! — подумалъ онъ. — Это отъ любви“.

— Къ мамѣ не зайдете? — спросилъ онъ.

— Я уже простился.

И, помолчавъ, онъ прибавилъ:

— Вы ее проводите въ деревню... А вдругъ какъ вамъ нельзя будетъ? Если вы очутитесь тамъ... и на васъ падетъ жребій?

Дмитрій задумался.

— Хотите, я ее провожу? Вѣдь все равно... у меня нѣтъ личной жизни... я никому и ничему не нуженъ. Гоголь, кажется, называлъ такихъ людей „существователями“?

— Увидимъ! А пока — спасибо и за себя, и за маму.

Дмитрій крѣпко сжалъ руку Знаменскаго.

Они вышли вмѣстѣ на площадку. Знаменскій сталъ спускаться по лѣстницѣ. Дмитрій глядѣлъ ему вслѣдъ и думалъ:

„Это отъ любви! Пройдетъ! Онъ все-таки академическая натура!“

XVI.

Шелъ снѣгъ. Его хлопья попадали въ лицо Дмитрія и забирались подъ мѣховой воротникъ его студенческаго пальто.

Онъ спустился на Моховую. Сейчасъ онъ зашелъ въ меблировку „Люди“, когда ея нѣтъ дома: она какъ разъ въ эти часы на урокахъ.

Коридорная дѣвушка Таня давно его знаетъ, знаетъ и то, что у него съ барышней „любовная канитель“; она недавно получила отъ него рубль и очень весело ему улыбнулась, когда онъ, встрѣтивъ ее въ коридорѣ, сказалъ ей:

— Таня, голубчикъ, мнѣ надо войти въ комнату Людмилы Николаевны и написать ей записку. Можно?

— Вамъ - то? Обязательно! — звонко пропѣла Таня. Ключъ еще въ двери. Я собралась убирать. Пожалуйста.

Онъ не снималъ ни пальто, ни фуражки

и тотчасъ присѣлъ къ маленькому бюро, гдѣ все было такъ аккуратно уложено. Въ бюварѣ приготовлена бумага и конверты съ ея монограммой, отъ которыхъ шелъ запахъ шипра.

Не задумываясь ни на одну секунду, онъ однимъ духомъ исписалъ всю первую страницу.

И такъ это было чудно, что бумага розовая, еще съ какимъ-то отливомъ, самая „шикозная“, и такъ похожая на самую хозяйку этого чистенькаго и наряднаго номерка.

„Милый мой дружокъ Людя, — выводилъ онъ быстрой и твердой рукой своимъ крупнымъ и тонкимъ почеркомъ, — зашелъ къ тебѣ проститься. Не разъ я тебѣ говорилъ, что мы теперь не можемъ отвѣчать за свою жизнь — на полчаса впередъ. Вотъ и я попалъ подъ колесо. Когда ты вскроешь конвертъ и прочтешь эти строки — „Мити“ твоего уже не будетъ. Не кори меня тѣмъ, что я не пожалѣлъ тебя, приготовивъ тебѣ такой сюрпризъ. Я не пожалѣлъ и мамы; а она любить меня не меньше, чѣмъ ты. Что дѣлать! Помнишь, въ „Грозѣ“ Островскаго: „Жестокіе у насъ, сударь, нравы, жестоки!“

Живи, радуй того, кого ты полюбишь, а безъ любви ты не проживешь. Прощай!

Твой Митя“.

Онъ даже не перечелъ, сложилъ листокъ пополамъ, досталъ конвертъ, заклеилъ его, сдѣлалъ надпись такой же твердой рукой и положилъ письмо на бюваръ, на самую средину бюро.

Потомъ всталъ, прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ, заглянулъ за перегородку, гдѣ постель стояла еще не убранная, вернулся и нѣсколько секундъ смотрѣлъ на фотографію Людмилы, въ рамкѣ, надъ диваномъ.

И вышелъ, все не снимая фуражки.

Таня изъ глубины коридора окликнула его:

— Прощайте, милый баринъ!

На улицѣ онъ нащупалъ въ боковомъ карманѣ тужурки другое письмо: то было адресовано матери.

Съ матерью онъ видѣлся всего разъ, урывкомъ. Она говорила объ отъѣздѣ, дня черезъ три, черезъ четыре.

Когда онъ зашелъ къ ней послѣ разговора съ Знаменскимъ — она испугалась почему-то, думала, что онъ что-нибудь съ собою „учинить“. А тогда у него не было еще ничего подобнаго въ головѣ. Онъ только подумалъ, что они оба — и доцентъ, и мать его — точно сговорились приглашать его къ поѣздкѣ туда, „откуда никто назадъ не приходитъ“.

Тотъ бѣднякъ можетъ плохо кончить. У него, кажется, „не всѣ дома“. Но какъ можно

что-нибудь предвидѣть и предсказать про чужую душу, коли и про свою собственную не знаешь, что въ ней произойдетъ въ какихъ-нибудь четыре дня?..

Да, все это стряслось не больше, какъ въ четыре дня, съ часами въ рукахъ.

Онъ былъ на двухъ сходкахъ. На второй вышелъ бурный споръ. Въ немъ онъ выступилъ смѣлѣе, чѣмъ въ первый разъ.

Нѣтъ, онъ и теперь заявить, хотя бы передъ высшимъ трибуналомъ, что ему „претитъ“ дѣлать нападенія на такихъ же пролетаріевъ, несущихъ службу, не принадлежа ни къ какой реакціонной партіи.

До этого онъ еще не дошелъ. Его стали убѣждать — горячо, разными готовыми доводами. Кто-то пустилъ обидную рѣзкость. Онъ не отвѣтилъ на нее и замолчалъ.

Больше ничего и не было.

А черезъ день его уже опутала гнусная клевета, о ней какія-то досужія лица довели и до его свѣдѣнія. Еще сутки и отъ него потребовали неопровержимыхъ фактовъ, удостоверяющихъ его благонадежность. И въ припискѣ была угроза.

Эти двѣ строки постъ-скриптумъ мгновенно всколыхнули въ немъ все его душевное „нутро“. И также внезапно охватило его отвращеніе ко всему, рѣшительно ко всему — къ себѣ, къ своему „я“, идеямъ, надеждамъ, мечтамъ, къ тому, что онъ считалъ — до

последней недѣли — откровениемъ высшихъ социальныхъ истинъ.

Чувство гадливости переполнило его. И онъ, въ ту же ночь, опускаясь на постель, заснулъ съ безповоротнымъ рѣшениемъ — уйти изъ жизни. Последнее, что всплыло въ его мозгу — были слова „повихнувшагося“ Петра Петровича:

„Умерь Пань!“

Спаль онъ крѣпко, проснулся не раньше обыкновеннаго и тотчасъ написалъ три письма — одно туда, гдѣ его заподозрили такъ стремительно, на имя одного изъ главныхъ „лидеровъ“, другое Знаменскому, третье матери. Первые два онъ послалъ по городской, а письмо матери положилъ въ боковой карманъ тужурки. На конвертѣ, подъ ея подробнымъ адресомъ, написалъ:

„Прошу не сразу вручить это письмо, а сказать, что я опасно раненъ“.

За утреннимъ чаемъ онъ старался ни о чемъ не думать, какъ это ему удавалось не разъ, когда онъ боролся съ какой-нибудь назойливой тревогой.

А теперь онъ спускается къ Моховой отъ „Люди“. Она узнаетъ все не ранѣе, какъ передъ обѣдомъ, а если ее гдѣ-нибудь оставятъ въ гостяхъ, и она попадетъ въ театръ или концертъ, то и не раньше перваго часа ночи.

Вотъ и университетъ.

Онъ остановился передъ рѣшеткой новаго университета и посмотрѣлъ на памятникъ Ломоносову.

Ему пришла на память прибаутка москвичей, что памятникъ похожъ на полуштофъ съ большой пробкой — точно символъ того, что первый русскій ученый и стихотворецъ подверженъ былъ „горькому испытанію“.

Сколько тутъ было шума, гаму, сходокъ, митинговъ, „бойкотовъ“, дракъ, цѣлыхъ осадъ... и все это теперь представлялось ему такимъ дѣтскимъ, ненужнымъ, смѣшнымъ.

Неужели стоило бы начинать опять заново вотъ такую жизнь, даже если бъ, глотнувъ чудодѣйственной воды, онъ мигомъ помолодѣлъ на три года, какъ докторъ Фаустъ?

И онъ выговорилъ вполголоса стихъ, казалось, давно имъ позабытый — стихъ объ „Entsagen“. Вспомнилъ и то, что онъ прочелъ этотъ стихъ впервые не въ подлинникѣ у Гёте, а въ эпиграфѣ тургеневской повѣсти.

Ему не захотѣлось даже бросить этимъ зданіямъ, гдѣ номинально значилась его „alma mater“, одно всего слово: — Прощай!

Онъ нахлобучилъ фуражку отъ хлопьевъ снѣга, заложилъ руки въ карманы и, держась все того же тротуара, пересѣкъ Тверскую, на перекресткѣ поглядѣлъ въ сторону гостиницы, гдѣ его мать теперь завтракаетъ

у себя въ номерѣ, перешелъ къ Охотному ряду, гдѣ все было „до гадости“ похоже на рыночную жизнь до возстанія, и прошелъ по плацу, держась ближе къ тому массивному отелю, что противъ бокового фасада Малаго Театра.

Тамъ и доиграетъ онъ послѣдній актъ своей „безталанной“ трагикомедіи.

Почему онъ такъ рѣшилъ? Зачѣмъ непремѣнно на людяхъ? Неужели изъ-за рекламы?

Такъ... Ему давно хотѣлось заглянуть въ этотъ роскошный ресторанъ. Совершенно дѣтская фраза: „на новомъ мѣстѣ“ — безпрестанно всплывала у него въ мозгу.

И не все ли равно? Даже порядочнѣе, чѣмъ въ номерѣ или въ частной квартирѣ. Это — почти все равно, что на улицѣ или на бульварѣ. Его свезутъ куда-нибудь, въ ближайшую больницу. А для ресторана скорѣе выгодно — вызоветъ нездоровое любопытство.

Входя въ обширныя сѣни, онъ нащупалъ что-то въ лѣвомъ карманѣ тужурки.

Въ первый разъ это будетъ имъ пущено въ ходъ... И противъ кого?

Это вызвало на исхудаломъ лицѣ его улыбку, когда одинъ изъ служителей въ сѣромъ — стаскивалъ съ него пальто.

Въ огромномъ залѣ было уже порядочно

народу. Средину занималъ столъ-буфетъ съ готовыми блюдами.

Дмитрій подошелъ къ нему и сталъ выбирать. Одинъ изъ хозяевъ — рослый французъ, въ смокингѣ, съ веселымъ лицомъ спросилъ его:

— Monsieur désire?

Онъ что-то выбралъ, присѣлъ неподалеку, съѣлъ то, что сейчасъ же поставили передъ нимъ, выпилъ стаканъ свѣтлаго пива въ высокомъ бокалѣ, вкусно затянулся папирсомъ, заплатилъ по счету, потомъ отодвинулся на стулѣ, вынулъ изъ лѣваго кармана то, что тамъ лежало, мгновенно взвелъ курокъ, а самъ выпрямился.

Раздался ударъ. Прислуга бросилась къ нему.

Онъ упалъ вправо.

XVII.

Тихо въ большомъ коридорѣ.

Въ угловой камерѣ только-что одѣли покойника — студента. Онъ скончался послѣ обѣда, а принесли его изъ гостиницы за свѣтло, еще живого.

Но онъ уже не приходилъ въ себя. Долго возились съ нимъ, давали вдыхать кислородъ, хотѣли дѣлать операцію, потомъ оставили — пуля засѣла въ сердцѣ. Спасенья не было.

Теперь онъ лежитъ на столѣ. Монашка читаетъ надъ нимъ. Скоро должны принести гробъ. А тамъ — унесутъ, поставятъ въ часовню. Одна панихида уже была.

Въ камерѣ стоятъ двѣ койки. На одной изъ нихъ умеръ Дмитрій.

Когда сидѣлка заглянула туда, монашка вполголоса бормотала въ правомъ углу. А налѣво, на койкѣ, свѣсивъ голову въ ладони рукъ, сидѣла Марья Ивановна.

Она не плакала. У нея уже не хватало слезъ.

Сидѣлка хотѣла было спросить ее — не надо ли ей чего-нибудь, не рѣшилась и на цыпочкахъ вышла въ коридоръ.

Она знала, что это была не дуэль или „разстрѣлъ“ — по нынѣшнему времени самое обыкновенное дѣло, — а самоубійство.

— Грѣхи, грѣхи тяжкіе! — беззвучно выговорила она, оправляя пелерину, и пошла попить чайку.

То же восклицаніе: „грѣхи“ — повторяла и та коридорная въ гостиницѣ, что ходила за Марьей Ивановной.

Ей пришлось первой предупредить ее, что молодой баринъ заболѣлъ въ такой-то гостиницѣ.

Марья Ивановна приняла это взаправду и сейчасъ же спросила:

— Его сюда привезутъ?

Потомъ приняла управляющаго, доктора. Они ее приготовили. А въ это время молодого барина уже перевезли въ больницу.

Туда надо было ее повезти въ каретѣ — сильно уже она рвалась и какъ бы „ровно помутилась“ — рассказывала потомъ горничная своимъ товаркамъ.

.

Подъ ритмическое чтеніе монашки Марья Ивановна стала качать головой, точно она

беззвучно, про себя, рыдала или что-нибудь причитала.

Дмитрій лежалъ, прикрытый старымъ покровомъ, закапаннымъ восковыми пятнами, въ той же тужуркѣ, въ которой завтракалъ. Но она осталась невредима. Она была растягнута и онъ приставилъ дуло пистолета прямо къ сердцу. Подъ тужуркой онъ носилъ темносинюю блузу съ косымъ воротомъ.

Лицо—не мертвенно-блѣдное, а скорѣе прозрачное, съ выраженіемъ задумчивымъ и мягкимъ и съ полузакрытыми глазами—совсѣмъ не говорило о смерти. Короткая прядь волосъ залегла на очень высокій, прямой лобъ, во рту осталось выраженіе не ужаса, не боли, а какого-то недоумѣнія.

Монашка сдѣлала передышку. Это заставило Марью Ивановну поднять голову и опустить обѣ руки на колѣни.

Она точно боялась оборачиваться влѣво, чтобы не видѣть тѣла сына.

Опять она окаменѣла внутренно. И въ эту минуту она силилась убѣждать себя, что вѣдь все это — должно было случиться.

Дочь пропала и не вернется. Но вѣдь она также по доброй волѣ кинулась въ самое жерло. Это тоже было самоубійство, хотя она пала отъ солдатскихъ пуль.

Оба они не хотѣли жить или не могли. Елена даже и не написала ей на клочкѣ бумаги:

„Мама, если я ни завтра, ни послѣзавтра не приду — значитъ я погибла“.

Тамъ все ясно... какъ на войнѣ. Вотъ сейчасъ живъ, здоровъ, полонъ пыла и отваги — а черезъ двѣ минуты бездыханный трупъ! Не нужно тутъ допытываться поводовъ, мотивовъ.

А что погнало изъ жизни Митю?

„Краха души“ — повторила она мысленно и сейчасъ же схватилась за карманъ своей кофточки, достала оттуда скомканный листокъ, поднесла его къ глазамъ и въ десятый разъ стала прочитывать:

„Не доискивайся, мама, тайныхъ мотивовъ моей добровольной смерти. Никто въ ней не виноватъ, хотя и есть толчекъ... но только толчекъ, о которомъ не стоитъ и говорить...“

„Не я первый, и не я послѣдній. Насъ скошилъ неизлечимый недугъ — краха души — я такъ это называю.“

„Прости меня, мама, я не долженъ былъ оставлять тебя одну послѣ двухъ смертельныхъ ударовъ судьбы. Но вѣдь мы — невмѣняемы. Мы — выродки, и насъ надо забыть... если нельзя простить насъ“...

„Краха души“ — повторила Марья Ивановна и опустила письмо сына въ карманъ.

Дверь чуть слышно растворилась.

Знаменскій взглянулъ въ комнату и сдѣлалъ два шара къ той койкѣ, на которой сидѣла Марья Ивановна.

Она протянула ему руку.

Въ немъ она не замѣчала ничего „особеннаго“. Вѣсь — трепетный, ангельская душа... Заплакалъ еще тамъ, у нея въ номерѣ, куда тотчасъ же явился... А потомъ сталъ хлопотать... и такъ все толково, даже спокойно. Предлагалъ ей даже перевезти тѣло въ его квартиру, или ей переѣхать къ нему.

— Голубушка, — вполголоса заговорилъ Знаменскій, беря ее за руку, — вы бы прилегли...

Она поглядѣла на него какъ бы съ вопросомъ:

„Какъ же я тутъ, около него, буду валяться на постели?“

Онъ понялъ.

— Я говорилъ ординатору. Въ дежурной есть кушетка. Прошу васъ, сдѣлайте это для меня.

Ей стало жаль его больше, чѣмъ самое себя.

— Ну хорошо... А вы-то какъ?

— Я подежурю... скоро должны принести...

Онъ не договорилъ слова „гробъ“.

Марья Ивановна поднялась и положила ему обѣ руки на плечи.

— Петръ Петровичъ... Какъ Митя хорошо сказалъ въ своей запискѣ... Крахъ души? А? Всѣ мы тѣмъ же поражены. Развѣ не правда?

Онъ молча кивнулъ головой, держа ее

подъ локоть. У дверей она повернулась и долго смотрѣла прямо въ лицо сына.

Пламя свѣчей вздрагивало, и по лицу этому пробѣгали мгновенныя колебанія свѣта.

Въ коридорѣ она ничего вслухъ не говорила, но беззвучно шептала что-то кончиками губъ.

И ему сдавалось, что это все тѣ же два слова:

„Крахъ души“.

И ему вдругъ порывисто захотѣлось крикнуть:

„А со мной развѣ не то же?“

Онъ уложилъ ее на кушеткѣ дежурной комнаты, прикрылъ ей ноги пледомъ и, наклонившись, быстро взялъ ее руку и поцѣловалъ.

— Вотъ кому не надо уходить! Вотъ кто долженъ жить!—проговорила она замедленно, съ глубокой нѣжностью.

— Не мнѣ ли?

— А то кому же, дорогой?

— Ха - ха!

Смѣхъ его заолодиль ее. Въ немъ было что-то несказанно-жуткое.

Онъ быстро вышелъ. Но ей показалось, что и въ коридорѣ онъ продолжалъ смѣяться и такъ же дико.

Знаменскій прошелся раза два по коридору и вернулся къ покойнику.

Монашка опять бормотала, то поднимая

голосъ, то опуская — на нѣкоторыхъ словахъ и возгласахъ.

Онъ сѣлъ на другую койку — не ту, гдѣ умиралъ студентъ.

Въ письмѣ къ нему Дмитрій сдѣлалъ намекъ на то, какъ „скоропостижно“ окутала его самая гнусная клевета. Но и его онъ просилъ не допытываться „прямыхъ“ мотивовъ.

Всѣ такіе толчки отступаютъ передъ неизлечимымъ и острымъ недугомъ, передъ тѣмъ „крахомъ души“, о которомъ онъ сказалъ въ письмѣ къ матери.

Съ его мѣста лицо покойника видно было особенно рельефно.

Никогда онъ не находилъ его красивымъ, а теперь его что-то привлекало — незамѣтное прежде для него кровное сходство съ сестрой.

Студентъ лежалъ обмытый и причесанный, подъ покровомъ — его отпоютъ, опустятъ въ могилу, поставятъ надъ нимъ крестъ.

А она?

И мгновенно ему представилась, въ краскахъ, холодящая картина: ея разложившійся трупъ, задавленный десятками другихъ мертвыхъ тѣлъ. И черви копошатся въ этомъ отвратительномъ смѣшеніи человѣческихъ остатковъ.

Онъ судорожно закрылъ глаза ладонями.

XVIII.

Электрическая лампочка тускло освѣщаетъ номеръ съ потолка.

На диванѣ Марья Ивановна сидитъ у одного края, облокотясь на подушку. Она наклонилась и положила правую руку на плечо молодой женщины, въ черномъ, припавшей къ ея колѣнямъ.

Ее колыхали сдержанныя рыданія. А у матери не было слезъ. Она всѣ ихъ выплакала. Она и сегодня, въ церкви, стояла недвижно, съ блѣднымъ, напряженнымъ лицомъ и только когда подошла къ гробу—поцѣловать покойника — то вся задрожала и зашаталась.

Вотъ эта неизвѣстная ей до того подруга Дмитрія — все время отпѣванія плакала навзрыдь. Потомъ упала безъ чувствъ, и ее увезли изъ церкви.

Знаменскій привезъ ее потомъ сюда. Они познакомились еще тамъ, въ больницѣ. Людмила вернулась домой очень поздно, изъ го-

стей, гдѣ ужинала, и даже не замѣтила письма отъ Дмитрія, положеннаго на бюварь.

Только утромъ, не раньше десятаго часа, она прочла его и бросилась искать. Но было уже поздно.

Марья Ивановна упрашивала ее такъ не убиваться. Она стала гладить ее лѣвой рукой по головѣ и повторяла:

— Намъ легче будетъ... Насъ двое.

Она не знала -- и въ эту минуту — какъ близка она была къ ея сыну, дѣвица она или находилась съ нимъ въ связи. Да и зачѣмъ ей было это знать? Передъ нею билась молодая женская душа. Какъ глубоко было горе этой хорошенькой, изящной дѣвушки, созданной для радостей жизни — она не можетъ, да и не хочетъ знать. Но теперь ей — полегче. Ихъ будетъ двое. Митя былъ честный. Если онъ серьезно привязался къ этой дѣвушкѣ — онъ долженъ былъ смотрѣть на нее, какъ на невѣсту и будущую жену. Она — хорошая трудовая дѣвушка, съ талантомъ. Она слышала это отъ Петра Петровича.

Каждый разъ, какъ она будетъ наѣзжать сюда — къ своимъ покойникамъ — она будетъ знать, что есть два существа, которыхъ судьба связала съ нею — вотъ эта хорошенькая музыкантша и „ангельская душа“ — Петръ Петровичъ.

Тотъ чувствовалъ по-другому. Съ Еленой онъ все потерялъ. Такіе два раза не любятъ.

Сегодня Марья Ивановна, въ первый разъ, взглядъ его впалыхъ глазъ показался мутнымъ... А говорилъ онъ совсѣмъ нормально, все хлопочетъ для нея, ничего не забываетъ... Только голосъ у него сталъ глуше.

Лаская Людмилу, Марья Ивановна вдругъ подумала:

„Вотъ бы имъ сойтись“...

Въ ней не заговорило ревнивое чувство матери. Въ ней все перегорѣло. Петръ Петровичъ не долженъ оставаться въ полномъ одиночествѣ. Онъ помутится. Ему нужно молодое, мягкое, веселое, талантливое существо. Ихъ можетъ сблизить именно то, что онъ любилъ Елену, а она Дмитрія.

Людмила болѣе уже не плакала. Марья Ивановна взяла ее подъ мышки.

— Встаньте... милая. Сядьте вотъ тутъ... около меня.

Та кротко поднялась. Ея красивое личико, все мокрое отъ слезъ — блестѣло. Она подѣтски вытирала его платкомъ. Сквозь ея скорбь брыжжила ея играющая жизненность.

Марья Ивановна чуть замѣтно улыбнулась, вбокъ взглянувъ на нее.

— Вотъ насъ двое... Память о немъ насъ свяжетъ... Людмила, — простите, я забыла какъ по отечеству.

— Зовите меня Людя... какъ Дмитрій звалъ меня.

— Ну хорошо, Людя! Ежели я еще доживу

до лѣта, и наше гнѣздо съ моимъ отцомъ не разорятъ — прїѣзжайте къ намъ на вакаціи. У насъ хорошо. Но можетъ и раньше... все сожгутъ. Митя тоже чувствовалъ, что жизнь раскололась... проваль вышелъ, оврагъ глубокий. Въ своей запискѣ онъ чудно выразился.

— Какъ?—стремительно спросила Людмила.

— Крахъ души!... У всѣхъ насъ.

— Не одно это!—вскричала Людмила, встала и заходила около дивана.

— Можетъ и такъ... но это главное.

— Нѣтъ! Его оклеветали! Въ газетахъ есть.

И, спохватившись, она смолкла.

— Кто оклеветалъ? Что въ газетахъ? Развѣ было что?

Марья Ивановна третій день не видитъ газетъ. Знаменскій просилъ ее не читать ихъ.

Людмила подбѣжала къ дивану, обняла Марью Ивановну и опустилась передъ ней на колѣни.

— Простите... Я—глупая, я не должна была вамъ этого говорить!

— Ничего, ничего... для меня теперь не можетъ быть страшнаго...

— Митя покончилъ съ собою потому, что его заподозрили въ чемъ-то.

— Въ чемъ же?

— Не знаю! Въ измѣнѣ, въ предательствѣ.

— Вздоръ какой! Онъ—предатель!

— Но это гадкая, подлая клевета!

— Оставьте... Людя милая. Если было что— такъ въ родѣ вотъ чего: онъ не захотѣлъ дѣлать того, что противъ его взглядовъ. Вѣдь онъ сознательно не пошелъ въ дружинники.

— Онъ былъ меньшевикъ.

— Знаю... И на это вѣрнѣе можно было взглянуть, какъ на измѣну.

— Нѣтъ, тутъ другая вещь. Я не оставлю этого такъ... я буду...

Руки Марьи Ивановны держали красивую голову Людмилы.

— Не дѣлайте... Мать его васъ просить. Не будемъ тревожить его памяти. Передъ кѣмъ оправдываться. Если бъ онъ былъ вѣрующій, онъ ушелъ бы безъ страха. Тамъ,— она подняла руку,— его бы пожалѣли... и оправдали.

Людмила сразу смолкла.

Въ дверь постучали.

— Войдите! — отвѣтила она за Марью Ивановну.

Вошелъ Знаменскій.

Онъ сейчасъ догадался, что онѣ о чемъ-то взволнованно говорили.

Людмила поднялась. Она стѣснялась передъ нимъ. Было что-то въ немъ для нея странное. Отъ Дмитрія она знала, что онъ „смертельно“ былъ влюбленъ въ Елену. Письмо Дмитрія онъ ей далъ читать.

— Людмила Николаевна,— обратился къ

ней Знаменскій. — Вы позволите довести васъ?

Это былъ деликатный намекъ на то, что не надо было дольше утомлять Марью Ивановну.

— Я и одна доѣду.

— Нѣтъ, позвольте. Вѣдь чрезвычайная охрана все еще не снята.

Звукъ его голоса былъ такой задушевный и ласковый; а этотъ брюнетъ смущалъ ее.

Вотъ-вотъ что-нибудь съ нимъ произойдетъ или онъ начнетъ заговариваться.

Но она не рѣшилась сказать ему:—Я васъ боюсь. Позвольте мнѣ ѣхать одной.

Знаменскій внизу, въ швейцарской, укуталъ ее платкомъ — на дворѣ была пурга — посадилъ ее въ сани, а самъ сѣлъ на самый край и поддерживалъ ее за талью, чуть слышно.

Они всю дорогу молчали, а ей такъ хотѣлось излиться. Но онъ смущалъ ее, хотя она, укутанная въ платокъ, не видала его лица.

Такъ же бережно и деликатно онъ высадилъ ее изъ саней и сказалъ, крѣпко пожавъ руку:

— Если вамъ захочется поговорить о Дмитріѣ, пришлите за мной.

.
Снѣгъ все еще падалъ, только вѣтеръ поутихъ.

Знаменскій давно отпустилъ извозчика и шель, медленно и точно механически, по

бульвару. Не дойдя до старыхъ Триумфальныхъ, онъ свернулъ въ переулокъ и вышелъ на Садовую.

Каждый день онъ ходитъ сюда, если не днемъ, то вечеромъ.

Вонъ видна колокольня церкви Ермолая. Тамъ, наискосокъ, поближе къ Тверской, тотъ длинный домъ, гдѣ должна была погибнуть Елена.

Онъ не пострадалъ отъ возстанія. Даже ворота остались цѣлы. И длинный проѣздъ— все тотъ же. Можно пройти въ другой конецъ. Но кругомъ видны еще слѣды „декабрьскихъ“ дней. Рѣшетка выломана — на десять сажень. Домъ, гдѣ аптека, стоитъ все въ такомъ же видѣ.

Знаменскій остановился у колоннады Аква-риума. Тутъ все было темно; но дальше театръ Омона уже сіялъ электрическимъ солнцемъ.

Какъ же онъ рѣшилъ, что „Панъ умеръ“? Какой Панъ? Такихъ, какъ онъ — жалкихъ идеалистовъ? Но что такое они — если взять ихъ всѣхъ вмѣстѣ? Ничтожная кучка! Вѣдь Панъ значитъ—все, громада, подавляющее большинство. Вонъ его храмъ — тотъ декантскаго стиля чертогъ, выведенный заѣзжимъ французомъ для услажденія ночныхъ досужихъ обывателей.

Умеръ... его Панъ, а не всѣхъ этихъ „существователей“, которыхъ вездѣ — какъ песку морского.

Войди туда, жалкій идеалистъ, купи билетъ,
смѣшайся съ этой обывательской публикой,
познай всю глубину твоего ничтожества пе-
редъ торжествующей пошлостью и грязью...
Тотъ Панъ никогда не умреть!

XIX.

Вагонъ сильно качало. Въ немъ — почти полная темнота. Свѣча въ фонарѣ завѣшена синей занавѣской.

Марья Ивановна лежитъ на одномъ диванѣ; другой занятъ также пассажиркой, тихой старушкой, которую провожалъ въ Москвѣ какой-то молодой человѣкъ въ форменной фуражкѣ. Она сразу легла и повернулась лицомъ къ стѣнѣ, немножко повздыхала... потомъ ее скоро закачало, и она заснула. Слышно было ея звонкое, ритмическое дыханіе.

Вокзалъ, откуда Марья Ивановна отправлялась, былъ еще занятъ военнымъ карауломъ. Движеніе шло уже правильно и по этой, и по другимъ линіямъ. Да она ничего и не боялась. Что бы ни вышло по дорогѣ, ей самой—все равно. Если и будетъ обидно, то за того старика, который такъ страстно ждетъ тамъ, въ своемъ „деревянномъ сарко-

фагѣ“—какъ онъ называетъ ихъ деревенскій домъ.

Она не хотѣла сразить его вѣстью о двойной гибели Елены и Дмитрія. Ей самой было слишкомъ тяжело писать и даже телеграфировать. Петръ Петровичъ взялъ это на себя.

Когда она его обнимала на вокзалѣ, часть тому назадъ—онъ ей показался еще болѣе страннымъ, чѣмъ наканунѣ.

Опять ничего „такого“ не говорилъ, но лицо, лицо... Такого лица, такихъ глазъ не можетъ быть у человѣка вполнѣ нормальнаго.

Въ вагонѣ, въ коридорчикѣ, она его задержала и, не выпуская его руки, шопотомъ сказала ему:

— Петръ Петровичъ! Дорогой! Пощадите вы сами себя!... Не задумайте вы чего... съ собою.

И она обняла его еще разъ, сдерживая слезы.

— Съ собою, — повторилъ онъ. — Богъ съ вами, Марья Ивановна! Вѣдь я больше не владѣю собою.

На ея вопросительный взглядъ онъ добавилъ:

— Съ собою могъ бы покончить только тотъ внѣшній Знаменскій, а внутренній вѣдь и безъ того умеръ.

И онъ нагнулся и поцѣловалъ ея руку.

Раздался третій звонокъ. Знаменскій ввелъ ее въ вагонъ, и она его заторопила:

— Скорѣе! Уѣдете со мною!

И когда легла, то начала думать о странных словах „ангельской души“ — Петра Петровича.

Что это такое: „внѣшній Знаменскій“ и „внутренній“, и какъ тотъ внутренній — умеръ?

Развѣ совсѣмъ нормальный человекъ могъ бы такъ говорить?

Неужели съ нимъ уже началось настоящее душевное разстройство?

Господи!

Неужели еще не кончилась цѣпь ударовъ? Смерть физическая вызоветъ, — а то уже и вызвала — душевную?

Вѣдь онъ сказалъ же сейчасъ:

„Внутренній Знаменскій — тотъ уже умеръ!“

Молиться она давно не умѣетъ. Одна надежда — на его молодость. За что же ему — такому молодому, умному, ученому, безобидному, любящему — искуплять такой жестокой „казнью“ — что? Беззавѣтную любовь къ ея дочери?

Спать она не могла, хотя ее такъ же могло закачать, какъ и ея сосѣдку по вагону.

Протянулось около двухъ часовъ.

Они стали. Станція довольно ярко освѣщена. Слѣдовало бы стоять пять минутъ; но прошли и всѣ десять. Поѣздъ продвинули назадъ, потомъ его поставили на запасный путь.

Она пріотворила дверку и окликнула истопника, проходившаго по коридору.

- Отчего мы стали?
— Что-то не ладно на пути.
— А долго ли простои́мъ?
— Неизвѣстно.

И ушелъ.

Она не стала беспокоиться. Дѣло самое обыкновенное, по теперешнему времени.

Но вотъ откуда-то стало доноситься пѣніе. Голоса мужскіе, какъ будто подгулявшихъ мужиковъ или рабочихъ.

Что это? Забастовка? На самой дорогѣ или гдѣ-нибудь на фабрикѣ, по близости?

Могутъ ворваться въ поѣздъ — избить, ограбить.

Прежде она бы взволновалась; а теперь ей ничего не страшно.

— Что? Что такое?

Старушка тревожно проснулась, подняла голову и стала озираться.

— Ничего! — успокоила ее Марья Ивановна, обернувшись къ ней лицомъ.

— Рабочіе! Сюда идутъ?

Голосъ ея вздрагивалъ.

— Просто мастеровые... Сегодня вѣдь праздникъ.

— Надо узнать. Кажется, есть звонокъ. Позвоните, ради Бога! Прислуга должна явиться.

— Я уже спрашивала. Она ничего не знаетъ. Насъ отвели на запасный путь.

— На дорогѣ что-нибудь случилось?

— Подождемъ.

— Боже мой! Боже мой! Они идутъ сюда!

Слезы уже слышались въ голосъ старушки. Она спустила ноги, покрытыя одѣяломъ, и стала глядѣть на дверь.

— Не бойтесь! Вотъ придетъ кондукторъ.

— Простите! Если бъ вы только знали, что я пережила за это время!

Она прилегла опять.

„Все не то, что я“,—подумала Марья Ивановна и поглядѣла на нее.

— Въ двѣ недѣли, — заговорила старушка, какъ-то на особый ладъ, жалобно, — двѣ недѣли всего! И вотъ мы... со старикомъ нашимъ... нищѣ... совсѣмъ нищѣ.

— Погромъ?—подказала Марья Ивановна.

— Все сожгли... заводъ... усадьбу. Страховое общество не выдаетъ ничего... Это force majeure! Мы заболѣли. Ютились на постояломъ дворѣ, — произнесла она точно съ ужасомъ, — въ уѣздномъ городишкѣ. Я металась по Москвѣ... И вы не повѣрите... мои родственники — я должна была у нихъ остановиться — ихъ домъ тамъ, за Кудринимъ...

— На Прѣснѣ? — подказала опять Марья Ивановна.

— Вы знаете... что жъ мнѣ вамъ говорить! Дочь... не можетъ намъ помочь. Ея мужъ — сидитъ въ Петербургѣ, въ Крестахъ. Вы знаете — что это такое?

— Нѣтъ, не знаю.

— Это тюрьма такая... для политическихъ И дѣти нынче какія! Господи! Была курсистка. Идеи нынѣшнія... И сама тоже сидѣла... еще здѣсь, въ Москвѣ. И выскочила за мальчишку... тоже изъ самыхъ отчаянныхъ... Захватили... сидитъ третій мѣсяць. Цѣлая у нихъ шайка... Террористы, что ли!.. Развѣ она броситъ его... пойдеть къ отцу съ матерью?

Злобный смѣхъ вылетѣлъ изъ полубеззубаго рта старушки.

Марьѣ Ивановнѣ не было ея жаль. И она не хотѣла даже сказать ей:

„Не жалуйтесь! Вы не знаете, чего я лишилась, также въ двѣ недѣли“.

— Нищѣ мы, — продолжала пассажирка и, полусидя на диванѣ, стала какъ-то раскачиваться.—Нищѣ! Ложись и умирай! Ложись и умирай! Были дворяне, помѣщики... какъ это называется — первое сословіе... А теперь? Порадуйтесь!

И, перебивая себя, она спросила:

— И вы бѣжите изъ имѣнія?

— Я ѣду домой, — кратко отвѣтила Марья Ивановна.

— Куда?

— Въ усадьбу.

— Ха-ха! Такъ васъ еще не сожгли! Не разнесли все? Видали вы погромы? А?

— Нѣтъ, не видала.

— Жалѣю. Господи! И это люди! Граждане!.. Вѣдь нынче такъ называютъ. Звѣри!

Хуже звѣрей! Съ голоду мрутъ, а жгутъ хлѣбъ, вспарываютъ лошадамъ животы! Льютъ вино изъ бочекъ... и сами напиваются до положенія скотовъ. И имъ же отдадутъ всю нашу землю! Имъ же!.. И по дѣломъ, по дѣломъ всѣмъ измѣнникамъ... выродкамъ дворянскаго рода... А вѣдь сколько ихъ... Князья, Рюриковичи! Только бы имъ прославиться! У!.. Проклятые!

Она закашлялась, махнула рукой, легла, повернулась спиной и замолчала.

Черезъ полчаса поѣздъ двинулся. Марью Ивановну закачало, и она проснулась уже гораздо позднѣе — часа черезъ два.

Въ дверь просунулась голова оберъ-кондуктора.

— Опять стоимъ? — спросила она спокойно.

— Придется простоять часовъ пять.

— Почему?

— Здѣсь... ночью... разобрали рельсы фабричные... на цѣлыхъ полверсты... Были безпорядки... стрѣляли.

— Есть убитые?

— Не могу вамъ сказать. Не угодно ли чаю? или закусить?

Старушка опять тревожно вскочила и стала спрашивать?

— Что? что такое?..

Оберъ-кондукторъ повторилъ ей то, что уже сообщилъ Марьѣ Ивановнѣ.

— Рельсы разобрали! Я выйду! Я не поѣду дальше!

— Все равно, сударыня, придется стоять до пяти часовъ утра. Вы можете и здѣсь ночевать.

— Фабричные! Разнесутъ станцію! Ворвутся...

— Здѣсь — цѣлый батальонъ... не извольте беспокоиться. Угодно будетъ чего-нибудь?

— Кофею мнѣ, кофею! И плюшку! — почти закричала она, и когда онѣ остались вдвоемъ, она стала охать и что-то причитывать себѣ подъ носъ.

Марья Ивановна могла бы и тутъ устыдить ее тѣмъ, что она сама перенесла въ двѣ недѣли; но ей показалось „кощунствомъ“ излить свое горе передъ этой дворянкой, наполовину обезумѣвшей отъ всего, что стряслось съ нею и съ ея мужемъ. О дочери она не сокрушалась.

XX.

Парныя сани стали спускаться къ мосту, откуда будетъ подъемъ къ усадьбѣ.

Все тотъ же „Апалить“ ютится на облучкѣ и безпрестанно оглядывается на барыню. Ему ужасно хочется поговорить съ ней.

Марья Ивановна спросила его, какъ только сѣла въ сани — „какъ старый баринъ“, — на что Ипполитъ отвѣтилъ безъ запинки:

— Ничаво! Меня седни съ утра требовали... насчетъ васъ.

Но больше она его ни о чемъ не разспрашивала. На станціи, когда она вышла на платформу — ее такъ схватило за сердце, что она покачнулась и чуть не упала.

Въ двухъ шагахъ отъ себя она увидала красную фуражку начальника.

Вся сцена казни ея друга — пронеслась передъ нею. За горло точно кто сталъ ее душить. Въ буфетѣ она почти упала на диванъ.

Служитель, который несъ ея вещи, узналъ ее и доложилъ, что ее ждуть сани.

Плакать она не могла. Всѣ свои слезы она выплакала въ Москвѣ. И то, что она почувствовала сейчасъ—на платформѣ и станціи—точно пеленой закрыло собою все, что она переживала въ Москвѣ.

И ей стало какъ бы немного полегче.

Ипполитъ, когда они шагомъ стали подниматься „на изволокъ“, проѣхавъ мостъ, опять обернулъ къ ней свое бабье, безусое лицо и окликнулъ:

— Марья Ивановна!

— Что тебѣ?

— Станціоннаго-то новаго видѣли? Изъ офицеровъ онъ. Всѣхъ смѣнили опосля того. Семена Лукича... всѣ вспоминають. Добрѣйшей былъ души.

Она могла бы замѣтить, по глазамъ Ипполита, что онъ говоритъ ей это не спроста. Тутъ былъ несомнѣнный намекъ; но простоватый возница сказалъ это безъ всякаго ехиднаго умысла.

Три недѣли назадъ ее всю бы повело; а теперь это согрѣло ее, и она мысленно повторила мужичьи слова „Апалита“:

„Добрѣйшей былъ души!“

Только что они въѣхали въ обширный дворъ усадьбы, слѣва, отъ сарая, подлетѣла одна изъ овчарокъ — шершавая, огромная — и бросилась къ санямъ.

— Постой... Ипполитъ.

Овчарка полѣзла къ барынѣ, положила ей

лапы на плечи, разинула свой горячій ротъ, лизала ее и дышала на нее, взвизгивала отъ радости.

Марьѣ Ивановнѣ показалось даже, что на ея круглыхъ глазахъ блестятъ слезы.

— Фатѣвна! Милая! Здравствуй, здравствуй!

Сколько осталось живыхъ существъ, для которыхъ она дорога: отецъ, нянька, тамъ въ Москвѣ „ангельская душа“ Петръ Петровичъ — и вотъ эта старая-старая овчарка. И она скоро уйдетъ изъ жизни—ей уже четырнадцать лѣтъ. Она, навѣрно, ждетъ и молодыхъ господъ. Елена любила ее... Митя много съ ней возился, когда былъ гимназистомъ.

Фатѣвна, взвизгивая, побѣжала за санями

— Къ заднему крыльцу прикажете?—спросилъ Ипполитъ.

— Къ заднему.

Въ „дѣвичью“ къ ней выбѣжала нянька, хотѣла поцѣловать руку, но не смогла и глухо зарыдала. Марья Ивановна обняла ее.

И такъ они стояли нѣсколько секундъ обнявшись.

— Лелечка наша... Митя! Владычица! Прогнѣвили мы Тебя!

Точно испугавшись, она сразу смолкла и тогда уже схватила руку барыни и стала цѣловать ее.

— Какъ папенька?

— Ждутъ. Ничего... Сильно убивались... Я

думала, не встанутъ. А съ третьяго дня пришли въ себя... какъ только получили депешу, что вы сегодня будете.

Все это нянька говорила торопливо, раздѣвая барыню.

Изъ кабинета раздался колокольчикъ.

— Прямо къ нимъ пожалуете, матушка?

— Да, да!

Голова Марьи Ивановны была еще укутана платкомъ; но она поспѣшила къ отцу.

— Мэри! Милая!

Голосъ старца дрогнулъ. Онъ поднялся въ креслѣ, обнялъ ее и замеръ на ее плечѣ, такъ же, какъ нянька, три минуты назадъ.

— Одни... одни остались, — силился онъ выговорить.

Тутъ только она взглянула на него. Лицо стало точно все прозрачное, безплотное, волосы падали почти на плечи. Пальцы рукъ вздрагивали замѣтно. Глаза, полные слезъ — глядѣли на нее растерянно. И жалобная усмѣшка поводила ротъ.

— Садись, садись! — шептала она, держа его подъ мышки. Я тутъ сяду...

Она опустилась на табуретъ, свое обычное мѣсто около его кресла.

Старецъ все еще держалъ ея голову трепетными пальцами.

Не говори, Мэри... Не рассказывай... Зачѣмъ себя мучить? Я знаю. Господинъ Зна-

менскій написалъ мнѣ два письма. Какъ онъ убить!.. Развѣ онъ такъ любилъ Лелю?

— Да.

— Даже одна фраза во второмъ письмѣ... показалась мнѣ странной... очень странной.

Они поглядѣли другъ на друга.

— Я боюсь за него.

— За его голову? Бѣдный молодой чело-
вѣкъ!

Онъ не рѣшался задавать ей вопросы. А ей слишкомъ тяжело было по порядку все рассказывать. И они сидѣли цѣлую минуту растерянно, точно придумывая, о чемъ имъ бесѣдовать.

— Леля! — вырвался возгласъ у старца. — Несчастливая! Неужели такъ и неизвѣстно?..

Онъ не докончилъ.

— Нѣтъ, — проговорила дочь довольно твердо. — Что же себя мучить?.. Она погибла!

— А вдругъ? Неужели ты не надѣешься, Мэри?

— Явится?.. на радость ли, папа?..

— Что ты говоришь!

— На радость ли? — повторила дочь настойчиво и подняла голову, все еще укутанную платкомъ. — Что бы ее ждало? Ссылка! А то и такой же разстрѣлъ. Вѣдь они на одномъ возстаніи не помирятся.

— Кто они?

— Такіе, какъ она... Послѣ Москвы будетъ опять Севастополь... или другой портъ... или

Петербургъ, Одесса, Баку... Такъ лучше, папа. Я жила надеждой... А теперь... Леля для меня покойница... и навсегда.

На губахъ у него дрожалъ вопросъ: „Неужели такъ и нельзя допытаться, гдѣ она лежитъ?“

Но онъ сдержалъ себя. Сердце его ныло за эту убитую рокомъ мать: гибель обоихъ дѣтей и человѣка, котораго она приблизила къ себѣ, какъ возлюбленнаго.

О Семенѣ Лукичѣ онъ ни однимъ словомъ не обмолвился.

— Я не буду... теперь спрашивать тебя... о Митѣ. Тотъ... господинъ Знаменскій такое странное далъ объясненіе въ своемъ второмъ письмѣ... Какъ бишь онъ выразился... к р а хъ души!

— Это подлинныя слова самого Мити.

— Да? съ отчаянья!.. Или не хотѣлъ чего-нибудь исполнить, что ему выпало... по жребію?..

— Нѣтъ, папа. Всего тутъ было... Была и клевета...

— Какая?

— Послѣ расскажу!..

— Прости меня, стараго хрыча! Тебѣ слишкомъ невыносимо.

Онъ взялъ ее опять обѣими руками за голову и поцѣловалъ.

— Страдалица ты моя... Mater dolorosa! Вотъ когда можно возроптать на „благое“

провидѣніе! И во мнѣ — закоренѣломъ идеалистѣ — покачнулась моя вѣра въ божественную гармонию. За что такіе удары? И что значать всѣ эти ужасы, вся эта бойня, вся наша пугачевщина — и прошлая, и настоящая, и грядущая!

— Провидѣніе! — тихо воскликнула она и повела головой, когда старецъ отнялъ свои руки и сложилъ ихъ на груди.

— И какая шутка или горькая насмѣшка судьбы... Вѣдь да, Мэри? Вотъ я... un vieux de la veille... развалина... ветошь... — могу скоро справлять свой шестидесятилѣтній писательскій юбилей! Ха-ха!

Смѣхъ его прокатился по просторной комнатѣ, куда уже спускались сумерки.

— На что я нуженъ? Кому? Зачѣмъ меня хранить... все то же всеблагое провидѣніе? А? И вотъ до сихъ поръ даже наши православные мужички щадятъ... или забыли... Сколько въ округѣ разграбили, разнесли и спалили усадебъ, а меня не трогаютъ! Истопникъ — мой собесѣдникъ и сверстникъ — тотъ вчера мнѣ сказалъ: „Позабылъ о насъ, ба-тюшка, и самъ Боженька!“ Авось смилуется, приберетъ!..

Она молчала.

.
Въ кабинетѣ совсѣмъ темно. Но старецъ не зажигаетъ свѣчей на столѣ, около своего кресла. Лампу что-то не несутъ.

Ему не хочется нарушать мракъ своего „саркофага“.

— Неужели, — шепчуть его безкровныя губы, — переживу и ее? Да отыдетъ отъ меня чаша сія!

Отъ засвѣжѣвшаго воздуха онъ вздрогнулъ и закрылъ глаза.

— Неужели? — съ тѣмъ же душевнымъ трепетомъ повторилъ онъ громче...

К о н е ц ъ .

Печатаются и скоро поступятъ въ продажу:

О. Мирбо. На автомобилѣ.
Рербергъ. Лекціи объ искусствѣ.
Тетмайеръ. Ангель смерти.
К. Гамсунъ. Сочиненія, XI томъ.

Сизеранъ.
 Англійская живопись. М. 1908.
 Цѣна 2 р. 75 к.
Iost. Физиологія растений.

IV ОТДѢЛЪ.

ДѢТСКІЯ КНИГИ.

Бр. Гриммъ. Сказки и легенды, въ переводѣ А. Федорова-Давыдова. 2-е изданіе Уч. К. М. Н. П. одобрено въ средн. и низш. уч. зав. Тт. 1-й и 2-ой. Цѣна за два тома 3 руб., въ коленкор. пер. 4 руб.

Японскія сказки.

Переводъ В. Ф. Коршъ. М. 1906 г. Ц. 40 к.

С. Лагерлефъ.

Легенды о Христвѣ. Ц. 2 р.

С. Лагерлефъ.

Сказки и легенды. Ц. 1 р. 50 к.

Э. Сетонъ-Томпсонъ.

Мои дикіе знакомые. Ц. 2 р.

Э. Сетонъ-Томпсонъ.

Животныя герои. Ц. 2 р.

Э. Сетонъ-Томпсонъ.

По слѣдамъ оленя. Ц. 75 к.

Лонгъ.

Младшій братецъ медвѣдя.
 Ц. 1 р. 75 к.

Перри-Робинзонъ.

Черный медвѣдь. Цѣна 1 р. 75 к.

Р. Киплингъ.

Вотъ такъ сказки! Ц. 2 р.

Р. Киплингъ.

Джунгли, въ 2-хъ томахъ.
 По 1 р. 50 к.

Г. Кеннеди.

Индійскія сказки. Ц. 2 р.

Макманусъ.

Ирландскія сказки. Ц. 1 р. 25 к.

Волховской.

Дюжина сказокъ. Ц. 1 р. 25 к.

Н. Готорнъ.

Книга чудесъ. Ц. 1 р.



PG 3453 .B62 .V4
Velikaia razrukha

C.1

Stanford University Libraries



3 6105 036 261 142

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

FIS JUN 30 1996

JAN 10 1996

